

ГЕНРИК  
СЕНКЕВИЧ

Пан Володыёвский



✦ ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА ✦

Трилогия

Генрик Сенкевич

**Пан Володыёвский**

«АСТ»

1888

## **Сенкевич Г.**

Пан Володыёвский / Г. Сенкевич — «АСТ», 1888 — (Трилогия)

Завершающий роман эпической трилогии, начатой книгами «Огнем и мечом» и «Потоп», экранизированный классиком европейского кинематографа Ежи Гофманом. Речь Посполита неистовствует. Магнаты земли Польской избирают нового короля. В блестящей, пышной Варшаве плетутся изощренные придворные и дипломатические интриги. А тем временем южные границы подвергаются новой, неожиданной опасности – в Подолию вторгаются несметные силы Османской империи... Таков фон, на котором происходят увлекательные приключения героев книги – неистового воителя Ежи Михала Володыёвского, молодого и благородного Анджея Кмицица, прекрасных Кшиси Дрогоевской и Баси Озерковской – приключения, в которых читатель словно участвует лично!

© Сенкевич Г., 1888

© АСТ, 1888

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Пролог                            | 5  |
| Глава I                           | 6  |
| Глава II                          | 11 |
| Глава III                         | 14 |
| Глава IV                          | 19 |
| Глава V                           | 22 |
| Глава VI                          | 29 |
| Глава VII                         | 37 |
| Глава VIII                        | 43 |
| Глава IX                          | 48 |
| Глава X                           | 55 |
| Глава XI                          | 60 |
| Глава XII                         | 66 |
| Глава XIII                        | 72 |
| Глава XIV                         | 76 |
| Глава XV                          | 79 |
| Глава XVI                         | 84 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 86 |

# Генрик Сенкевич

## Пан Володыёвский

### Роман

#### Пролог

После войны с венграми и состоявшегося вскоре торжественного венчания пана Анджея Кмицица с панной Александрой Биллевиц все ждали еще одной свадьбы – не менее доблестный и славный рыцарь, полковник лауданской хоругви пан Ежи Михал Володыёвский собирался жениться на Анне Борзобогатой-Красенской.

Но волею судеб свадьба откладывалась. Панна Борзобогатая, воспитанница княгини Вишневецкой, без ее благословения не решалась на такой шаг. Времена были беспокойные, и пан Михал, оставив девушку в Водоктах, один отправился за благословением к княгине, в Замостье.

Но и тут удача ему изменила – княгини он не застал. Ради эдукации сына она уехала в Вену к императорскому двору.

Рыцарь тотчас же поехал вслед за ней, хотя поездка эта была и не ко времени. Там уладив дело, он возвращался домой, исполненный надежд. Но дома застал беспорядок и смуту: солдаты вступали в союзы, на Украине не было мира, пожар не унимался и на востоке. Чтобы заслонить границу, собирали новое войско.

Еще по пути в Варшаву гонцы вручили пану Михалу письмо с наказом от русского воеводы. Ставя благо отчизны превыше собственных благ, он, отложив свадьбу, уехал на Украину. Несколько лет провел он в дальнем краю в огне, борьбе и трудах ратных и не всегда мог и весточку послать истомившейся невесте.

Потом его отправили на переговоры в Крым, а вскоре наступило время злополучной и тяжкой междоусобной войны с Любомирским, в которой пан Михал сражался против этого забывшего стыд и совесть вельможи на стороне короля, и наконец под водительством Собеского снова двинул свой полк на Украину. Слава его имени росла, его называли первым солдатом Речи Посполитой, но жизнь его проходила в тоске, во вздохах и ожидании.

Был 1668 год, когда, получив по распоряжению пана каштеляна отпуск, он в начале лета поехал за невестой в Водокты, чтобы оттуда повезти ее в Краков.

Княгиня Гризельда в ту пору уже вернулась из Вены и, желая быть посаженной матерью невесты, приглашала у себя отпраздновать свадьбу.

Молодые супруги Анджей и Оленька остались в Водоктах и о Михале на время забыли, тем паче что все думы их были о новом госте, появления которого они ожидали. До сей поры Провидение не послало им детей; но теперь должна была наступить долгожданная и столь милая их сердцу перемена.

Год выдался на диво урожайный, хлеба были такие обильные, что сараи и овины не могли уместить зерна, и на полях, куда ни глянь, виднелись скирды чуть не до неба. По всем окрестностям поднялся молодой лесок, да так быстро, как прежде, бывало, не вырастал и за несколько лет. В лесах полно было грибов и всякого зверя, в реках – рыбы. Редкое плодородие земли передавалось всему живому.

Друзья Володыёвского говорили, что это добрый знак, и все как один предсказывали ему скорую свадьбу, но судьба решила иначе.

## Глава I

Однажды в чудный осенний день пан Анджей Кмициц сидел под тенистой крышей беседки и, попивая послеобеденный мед, поглядывал сквозь обвитые хмелем прутья на жену, которая прохаживалась в саду по чисто выметенной дорожке.

Была она женщиной редкой красоты, светловолосая, с кротким, ангельским лицом. Исполненная покоя и благодати, она ступала медленно и осторожно.

Было заметно, что Анджей Кмициц влюблен в жену, как юнец. Он глядел ей вслед преданным взглядом, словно пес на хозяина. При этом он то и дело улыбался и подкручивал усы. И каждый раз на лице его появлялось выражение бесшабашной удалы. Видно было, что малый он лихой и в холостяцкие годы покуролесил немало.

Тишину в саду нарушали лишь стук падающих на землю спелых плодов да жужжание пчел. Было начало сентября. Солнечные лучи, не такие жаркие, как прежде, освещали все вокруг мягким золотым светом. В этом золоте среди матовой листвы поблескивали красные яблоки в таком изобилии, что казалось, деревья усыпаны ими сверху донизу. Ветки слив прогибались под плодами, покрытыми сизым налетом. Первые предательские нити паутины на ветках чуть вздрагивали от дуновения ветерка, такого легкого, что в саду не шелохнулся ни один лист.

Может, и райская эта погода наполняла сердце пана Кмицица таким весельем, потому что лицо его светлело все больше и больше. Наконец он отпил еще глоток меда и сказал жене:

– Оленька, поди сюда! Я тебе что-то скажу.

– Лишь бы не то, что мне и слушать неохота.

– Богом клянусь, нет! Дай скажу на ушко.

Сказав это, он обнял жену одной рукой, коснувшись усами ее белого лица, и прошептал:

– Коли сын родится, Михалом назовем.

Она чуть потупилась, зардевшись от смущения, и в свою очередь шепнула:

– Но ведь ты же на Гераклиуша согласился.

– Видишь ли, в честь Володыёвского...

– Неужто не в память деда?

– Моего благодетеля... Гм! И верно... Но второй-то уж будет Михал! Непременно!

Тут Оленька встала и хотела было высвободиться из объятий пана Анджея, но он еще сильнее прижал ее к груди и стал целовать ей глаза, губы, повторяя при этом:

– Ах ты, моя рыбка, любушка моя, радость ненаглядная!

Дальнейшую их беседу прервал дворовый, который бежал издалека прямо к сторожке Кмицица.

– Что скажешь? – спросил пан Кмициц, отпуская жену.

– Пан Харламп приехали и изволят в доме дожидаться, – отвечал слуга.

– А вот и он сам! – воскликнул Кмициц, увидев почтенного мужа, приближавшегося к беседке. – О боже, как у него усы поседели! Здравствуй, старый друг и товарищ, здравствуй, брат!

Сказав это, он выскочил из беседки и с распростертыми объятиями бросился навстречу пану Харлампу.

Но пан Харламп сперва склонился в низком поклоне перед Оленькой, которую в давние времена нередко видывал в Кейданах, при дворе виленского князя воеводы, приложился своими пышными усами к ее ручке и только после этого обнял Кмицица и, припав к его плечу, зарыдал.

– Боже милосердный, что с вами? – воскликнул удивленный хозяин.

– Одному Господь послал счастье, у другого – отнял. А печаль мою только вашей милости я и могу поведать.

Тут Харламп бросил взгляд на супругу пана Анджея, и она, догадавшись, что при ней он не решается заговорить, сказала мужу:

– Я велю прислать еще меду, а пока одних вас оставлю.

Кмициц повел пана Харлампа за собой в беседку и, посадив на скамью, воскликнул:

– Что с тобой? Или помощь какая надобна? Положись же на меня, как на Завишу!

– Ничего мне не надобно, – отвечал старый солдат, – и помощь твоя не нужна, пока вот этой рукой я еще шевельнуть в силах и саблю удержать могу, но старый друг наш, достойнейший муж речи Посполитой, в глубоком горе, да кто знает, жив ли он...

– О святой Боже! У Володыёвского беда?

– Беда! – подтвердил Харламп, и из глаз его в три ручья хлынули слезы. – Знай же, ваша милость, что панна Анна Борзобогатая с земной юдолью рассталась.

– Умерла! – воскликнул Кмициц, схватившись за голову.

– Как птичка, пронзенная стрелой...

Наступило молчание, только яблоки с тяжким стуком падали на землю да пан Харламп вздыхал все громче, с трудом сдерживая плач, а Кмициц, заломив руки и качая головой, повторял:

– Милостивый Боже! Милостивый Боже!..

– Не дивитесь тому, что ослаб я и обмяк, – промолвил наконец пан Харламп, – ведь если у вас при одной только вести о несчастье щемит сердце от *dolor*<sup>1</sup>, что же говорить обо мне, который и ее кончину, и его безмерную скорбь видел.

Тут вошел слуга, неся на подносе бутылку и еще одну чарку, а следом и Оленька, изнывавшая от любопытства. Глянув мужу в лицо и заметив его глубокое смятение, она, не выдержав, сказала:

– С какой твоя милость пожаловали вестью? Не отталкивайте меня. Может, я вас утешу, может, поплачу с вами, а может, советом помогу.

– Тут и твоей голове не придумать совета, – сказал пан Анджей, – боюсь только, кабы от таких вестей здоровью твоему урона не было...

– Я все снесу, горше всего неизвестность.

– Ануся умерла! – сказал пан Кмициц.

Оленька, побледнев, тяжело опустилась на скамейку. Кмициц подумал было, что она сомлела, но печаль взяла верх над внезапностью вести. Оленька заплакала, а оба рыцаря дружно ей вторили.

– Оленька, – сказал наконец Кмициц, желая отвлечь ее и утешить, – или не веришь ты, что душа ее в раю?

– Не над ней, а без нее осиротев, я плачу, да еще над бедным паном Михалом, потому что хотела бы я верить в спасение собственной своей души, так же как в ее вечное блаженство верю. Редкой добродетели была, благородная, добрая. Ах, Ануся! Ануся, незабвенная моя!

– Я был при ней и всем могу пожелать такого благочестия в час кончины.

Снова наступило молчание, а когда вместе со слезами отхлынула печаль, Кмициц сказал:

– Рассказывай, друже, все как было, в грустных местах медом дух подкрепляя.

– Спасибо, – ответил Харламп, – выпью глоток-другой, коли и ты мне компанию составишь, а то боль сердце клещами сжала, а теперь за глотку хватает, того и гляди задушит. Вот как это было. Ехал я из Ченстоховы в родные края, думал, возьму в аренду имение, поживу на старости лет в мире и покое. Довольно повоевал я на своем веку, мальчишкой в войско вступил, а сейчас голова седая. Если не усiju на месте, может, и встану под чьи-то знамена,

---

<sup>1</sup> боли (*лат.*).

но, право, союзы эти с обидчиками, вконец отчизну разорившие, да междоусобицы всякие, на потеху врагам разжигаемые, вконец отвратили меня от Беллоны... Боже праведный! Слышал я, пеликан своею кровью детей кормит. Но у бедной отчизны и крови-то не осталось. Добрым солдатом был Свицерский... Бог ему судья!..

– Ануся, милая Ануся! – с плачем прервала его пани Александра. – Если бы не ты, что бы со мной и со всеми нами случилось! Была ты для меня опорой и защитой. Ануся, любимая моя Ануся!

Услышав это, Харламп снова зарыдал в голос, но Кмициц тотчас же обратился к нему со словами:

– А скажи, друже, где ты Володыёвского встретил?

– Встретились мы в Ченстохове, где оба на время остановились, дары чудотворной Божьей Матери приносили. Он сказывал, что едет с невестой в Краков, к княгине Гризельде Вишневецкой, без ее благословения и согласия Ануся под венец идти не хотела. Девушка в то время была здорова, а Михал весел, как голубок. «Вот, говорит, Господь вознаградил меня за верную службу!» Передо мной похвалялся да зубы скалил, Бог ему прости, ведь в свое-то время спор у нас из-за этой девушки вышел, и мы было драться хотели. Где-то она теперь, бедняжка?

И тут пан Харламп снова зарыдал, но Кмициц остановил его:

– Так ты говоришь, она здорова была? Неужто умерла в одночасье?

– Воистину так, в одночасье. Остановилась барышня у пани Замойской, она как раз с мужем, паном Мартином, в Ченстохове гостила. Михал, бывало, день-деньской у них сиживал, сетовал на проволочки, говорил, что заждался, дескать, эдак им и за год до Кракова не доехать, ведь все их по дороге привечали. Да и не диво! Такому гостю, такому удалцу всякий рад, а уж кто зазвал его в дом, не вдруг отпустит. Михал и к барышне меня отвел, еще и шутил: вздумаешь за ней волочиться – зарублю. Да только ей без него белый свет был не мил. А меня, бывалоча, тоска разбирала, хоть волком вой: вот дожил до седин, а все один как перст. Ах, да полно! Но вот как-то ночью прибегает ко мне Михал – лица на нем нет.

«Беда, брат, помоги, не знаешь ли лекаря какого?» – «Что стряслось?» – «Заболела Ануся, не узнает никого!» – «Давно ли?» – спрашиваю. «Да вот человека прислали от пани Замойской!» А на дворе ночь! Где тут искать лекаря, один монастырь по соседству, а в городе людей меньше, чем развалин. Ну, разыскал я, однако, лекаря, правда, он идти не хотел, так я его обушком пригнал. Да только там не лекарь, а ксендз был нужен. Ну нашли мы наконец достойного отца паулина, и он молитвами вдохнул в бедняжку искру сознания, она и причаститься смогла, и с Михалом простилась нежно. На другой день к полудню ее не стало. Лекарь говорил, видно, опоили ее чем, да не верится, ведь в Ченстохове злые чары силу теряют. Но что с Володыёвским делалось, он такое нес, ну да Господь ему простит, потому что человек в горе себя не помнит... Вот, говорю как на духу, – тут пан Харламп голос понизил, – богохульствовал, себя не помня.

– Богохульствовал?! Неужто? – тихо повторил Кмициц.

– Выбежал от покойницы в сени, из сеней во двор, шатается, как пьяный. А на дворе поднял кулаки к небу и завопил: «Так вот она, награда за мои труды, за мои раны, за мою кровь, за верную службу отечеству?!»

Одна-единственная овечка у меня была, говорит, и ее ты прибрал, о Господи. Воина-рубаку, что за себя постоять готов, свалить, говорит, это тебе по плечу, но невинного голубя задушить и кот, и ястреб, и коршун сумеют... и...

– Бога ради! – воскликнула пани Александра. – Не повторяй, беду на дом накличешь!

Харламп, перекрестясь, продолжал:

– Эх, говорит, вот тебе, солдатик, за службу награда, получай!.. Господь ведает, что твои, но нашим бедным умом этого не понять и нашей справедливостью не измерить. Так он

богохульствовал, а потом отяжелел и свалился как сноп, а ксендз над ним экзорцизмы творил, чтобы отогнать от ослабевшей души бесов.

– И скоро ли он опомнился?

– Час целый лежал замертво, потом очухался, вернулся к себе и не велел никого пускать.

На похоронах я ему говорю: «Михал, помни о Боге!» Он молчит. Три дня просидел я еще в Ченстохове, жаль было его покидать, но только напрасно я стучался. Он видеть меня не хотел. Долго я размышлял, что делать, то ли ломиться в дверь, то ли ехать... Человека без помощи и утешения оставить? Вижу, однако, ничего путного не будет, и порешил к Скшетускому наведаться. Он да пан Заглоба, первые его друзья, может, и найдут путь к его сердцу, особенно пан Заглоба. Он человек сметливый, у него для всякого слово утешения сыщется.

– У Скшетуских побывал?

– Был, да только без толку: они с Заглобой уехали под Калиш к ротмистру пану Станиславу. Когда вернутся, не знает никто. Ну, думаю, все едино мне на Жмудь ехать, вот и решил к вам наведаться, мои благодетели, все вам выложить.

– В рвении твоём и благородстве я не сомневался.

– Да только не обо мне, о Володыёвском речь, – отвечал Харлам, – и признаюсь вам, любезные, я за его разум опасуюсь.

– Господь не допустит такого, – сказала пани Александра.

– Если и не допустит, то ведь Михал рясу наденет, как на духу говорю: за всю свою жизнь не видел я жалостней картины! А жаль солдата! Ох, жаль!

– Как это жаль? Одним слугой господним больше будет! – отозвалась снова пани Александра.

Харлам подкрутил усы, вытер рукой лоб.

– Сударыня-благодетельница... Вот ведь какое дело – может, больше, а может, и нет. Посчитайте, почтеннейшие, сколько он еретиков да язычников на тот свет отправил, этим он Спасителя нашего и Пречистую Деву Богородицу больше, чем иной ксендз молитвами восславил. Поучительная история! Пусть каждый служит Всевышнему, как умеет. И еще я вам скажу, среди иезуитов всегда кто-нибудь похитроумней его сыщется, а второй такой сабли во всей Речи Посполитой не найти!

– Верно говоришь! – отозвался Кмициц. – Не знаешь ли, брат, где он: в Ченстохове али уехал куда?

– Там я его оставил. Что потом было – не ведаю. Одно знаю. Не дай Бог, рассудок у него помутится или другая какая хворь, родная сестра несчастья, привяжется, останется он один-одинешенек – без родных, без друзей, без всякого утешения.

– Да хранит тебя, друже, в святом нашем городе Пречистая Дева! – воскликнул Анджей Кмициц. – А уж доброты твоей вовек не забуду, был ты для меня названным братом!..

Все умолкли, пани Александра сидела задумавшись и вдруг, вскинув златоволосую голову, сказала, обратясь к мужу:

– Помнишь ли ты, Ендрек, чем мы ему обязаны?

– Коли забуду – глаза у собаки занять придется, а то своими на людей глядеть совестно будет.

– Ендрек, оставить его в беде – грех великий!

– Как это?

– Езжай к нему.

– Ах, добрая душа, золотое сердечко! – воскликнул Харлам и стал целовать ручки пани Оленьке.

Но Кмицицу не по вкусу пришелся этот совет, он покачал головой.

– Ради него я бы на край света поехал, но видишь сама... если бы ты, не к ночи будь сказано, здорова была, посуди сама. Боже упаси, случай какой приключится. Да я бы там высох с горя. Жена для меня на первом месте, а уж после друзья-товарищи. Жаль Михала, но...

– Я тут под опекой отцов-лауданцев. Сейчас здесь спокойно, да и я не из пугливых. Без Божьей воли волос с моей головы не упадет... А Михалу, быть может, помощь твоя нужна...

– Ох, нужна, нужна! – вставил словечко Харлампа.

– Слышь, Ендрек. Я здорова. Здесь меня никто не обидит. Знаю, тяжело тебе на отъезд решиться...

– Легче было бы супротив пушек с саблей идти... – отозвался Кмициц.

– Неужто ты думаешь, совесть тебя не заест, коли останешься, ведь днем и ночью вспоминать будешь: друга своего я в беде бросил. Да и Господь, разгневавшись, откажет нам в благословении.

– Нож мне в сердце вонзаешь! В благословении откажет? Вот чего боюсь так боюсь.

– Другого такого товарища у тебя на свете нет – спасти его долг святой!

– Я Михала всем сердцем люблю! Уговорила! Коли ехать – так мешкать нечего, каждый час на счету! Сейчас велю заложить лошадей. Боже ты мой, неужто ничего другого придумать нельзя? Черт дернул их под Калиш забрать. Да разве я о себе, о тебе пекусь я, душа моя! Мне легче имения и всего добра лишиться, чем один-единственный день с тобой провести розно, кабы мне кто сказал, что я не ради подвигов ратных тебя здесь одну оставлю, заколол бы я его, как цыпленка. Долг, говоришь? Будь по-твоему. Назад глядеть – дело пустое. Но если бы не Михал, не поехал бы, ей-ей, не поехал!

Тут он обратился к Харлампу:

– Пойдем, сударь, со мной в конюшни, седлать пора. Оленька, вели собрать меня в дорогу. Да пусть кто-нибудь из наших лауданских за обмолотом присмотрит... А ты, пан Харлампа, хоть недельки две посиди у нас, жену мою не оставляй. Может, здесь в окрестностях именице какое сыщется. Любич в аренду возьмешь? Годится? Однако на конюшню пора. Через час в путь. Пора так пора!..

## Глава II

Еще задолго до захода солнца рыцарь простился с плачущей женой, которая дала ему на дорогу ладанку с частицей Животворящего Креста в золотой оправе, и двинулся в путь. Кмициц смолоду был привычен к походам и потому мчал во весь опор, словно гнал за татарами.

Доехав до Вильно, он свернул на Гродно и Белосток, а оттуда отправился в Седльце. Подъезжая к Лукову, он узнал, что Скшетуские всем семейством, с детьми и с паном Заглобой, вернулись из-под Калиша, и решил заглянуть к ним, с кем же еще мог он думами заветными поделиться.

Там встретили его с удивлением и радостью, сменившейся горькими слезами, едва он поведал о Володыёвском.

Безутешнее всех был пан Заглоба, он ушел к пруду и рыдал целый день, да так усердно, что, как сам потом рассказывал, вода вышла из берегов и пришлось открыть запруду. Но, поплакав всласть, успокоился и вот что потом сказал на общем совете:

– Яну ехать не с руки, он в суд выбран, хлопот у него предостаточно, после всех этих войн духи беспокойные витают. Из того, что нам здесь пан Кмициц рассказал, я заключаю, что аисты в Водоктах на зиму остаются: они сейчас там первые работники и своим делом заниматься должны. Само собой, при таком хозяйстве Кмицицу поездка не кстати, сроки ее никому не ведомы. Твой приезд, Анджей, делает тебе честь, но послушай совета: отправляйся домой, Михалу сейчас такой человек нужен, который, даже если оттолкнут и принять не захотят, не затаит обиды. *Patientia*<sup>2</sup> там нужно и мудрость житейская, а одной твоей дружбы здесь еще *non sufficit*<sup>3</sup>. Не прогневайся, сударь, коли скажу, что мы с Яном его первые друзья, в каких только переделках вместе не побывали. Господи Боже ты мой! Сколько раз друг другу на выручку шли!

– Разве что мне из суда уйти? – прервал его Скшетуский.

– Опомнись, Ян, тут интерес государственный! – сурово возразил ему Заглоба.

– Видит Бог, – говорил смущенный Скшетуский, – двоюродного моего брата Станислава я всей душой люблю, но Михал мне дороже.

– А мне Михал и родного брата дороже, тем паче что родного у меня нет и не было никогда. Не время спорить, кто Михалу больше предан! Видишь ли, Ян, если бы это несчастье только сейчас приключилось, я бы первый сказал: отдай свой судейский колпак шуту и поезжай. Но рассуди, сколько воды утекло с той поры, когда пан Харламп из Ченстоховы на Жмудь поехал, а пан Анджей к нам из Жмуди. Теперь к Михалу не токмо ехать, но и остаться с ним надо, не токмо плакать, но и поразмыслить с ним вместе. Не токмо на Спасителя нашего как на благой пример ему указывать, но приятной беседою и шуткой ум и сердце его укрепить. Знаете, кому ехать следует? Мне! Я и поеду! Господь меня не оставит: разыщу Михала в Ченстохове – сюда привезу, а не найду – в Молдавию за ним потащусь и, пока в силах щепотку табака к ноздрям поднести, искать его не перестану.

Услышав эти слова, оба рыцаря принялись поочередно обнимать пана Заглобу, а старик при мысли о постигшем Михала несчастье и о том, сколько у него самого теперь будет хлопот, снова расчувствовался. Уже он и слезы утирать начал, а когда объятия ему наскучили, сказал:

– Вы меня за Михала не благодарите, он мне не чужой.

– Не за Володыёвского тебя благодарим, – отвечал Кмициц, – но лишь бесчувственное, поистине каменное сердце не тронула бы твоя, сударь, готовность в столь преклонные годы –

---

<sup>2</sup> терпение (*лат.*).

<sup>3</sup> недостаточно (*лат.*).

дружбы ради – на край света ехать. Другие в эти годы о теплой лежанке помышляют, а ты, благородный человек, так о долгой дороге говоришь, будто мне или Скшетускому ровесник.

Заглоба не скрывал своих лет, но, по правде говоря, не любил, когда ему о старости, как о верной подруге многочисленных недугов, напоминали, и, хотя глаза у него все еще были красные от слез, он, покосившись на Кмицица, сказал:

– Ах, сударь! Когда мне пошел семьдесят седьмой год, я с тоскою взирал на белый свет, словно два топора над моей головой занесены были, но когда мне стукнуло восемьдесят, такая бодрость во все члены вступила, что о женитьбе стал подумывать. И еще неизвестно, кто перед кем похвалиться может.

– Я хвалиться не стану, но ты, сударь, достоин самой высокой похвалы.

– Со мной тягаться не след, а то, глядишь, и оконфузить могу, как в свое время я пана гетмана Потоцкого в присутствии его величества короля оконфузил. Пан гетман на мой возраст намеки делал, а я возьми и скажи – давай, мол, через голову кувыркатся, и поглядим, чья возьмет? И что же оказалось? Пан Ревера перекувырнулся три раза, и его гайдуки поднимать кинулись – сам встать на ноги не мог, а я его со всех сторон обошел: ни мало ни много тридцать пять раз через голову перекувырнулся. Спроси Скшетуского, он своими глазами видел.

Скшетуский уже привык, что с некоторых пор пан Заглоба постоянно ссылался на него как на свидетеля, он и бровью не повел и снова заговорил о Володыёвском.

Заглоба меж тем умолк, погрузившись в раздумья, и лишь после ужина повеселел и обратился к друзьям с такими словами:

– А теперь я скажу вам то, что не всякому уму доступно. Все в руках Божьих, но сдается мне, Михал скорее залечит эту рану, чем мы думаем.

– Дай-то Бог, но только как ты, сударь, об этом догадался? – спросил Кмициц.

– Гм! Тут и чутье особое надобно, которое от Бога дается, и опытность, которой у вас в ваши годы быть не может, да и Михала понимать надо. У каждого свой нрав и характер. Одного так несчастье прибьет, будто бы, выражаясь фигурально, в реку бросили камень. Вода поверху *tacite*<sup>4</sup> течет, а меж тем на дне камень, он путь ей преградил, воду баламутит и берedit жестоко, и так оно и будет до тех пор, пока она в Стикс не канет! Вот ты, Ян, таков, и таким тяжелее всех на свете, и горе и память всегда с ними. А другой, напротив, *eo modo*<sup>5</sup> удары судьбы примет, словно его кулаком по шее огрели. У него от горя в глазах темно, но глядишь, опомнился, а потом, когда зажила рана, и вовсе повеселел. С таким нравом, доложу я вам, куда легче жить в этом полном превратностей мире.

Рыцари, затаив дух, внимали мудрым словам пана Заглобы, а он, радуясь, что его слушают с таким вниманием, продолжал:

– Я Михала насквозь вижу и, Бог свидетель, не хочу на него напраслину возводить, но только сдается мне, что он о свадьбе больше, чем о девушке этой, помышлял. И не диво, что пал духом, хуже беды для него не придумаешь. Ведь представить трудно, как же ему хотелось жениться. Нет в его душе ни жадности, ни гордыни, от всех благ он отказался, состояние потерял, о жалованье не заикнулся, но за все труды, за все заслуги ничего не хотел он от Бога и от Речи Посполитой – кроме жены. И вот, только облюбовал он лакомый кусочек и ко рту поднести собирался – а ему по рукам! На! Получай! И как было не прийти в уныние? Разумеется, он и из-за девки горевал, но пуше всего разбирала его досада, что вот, мол, опять в холостяках остался, хотя сам, быть может, поклясться готов, что это не так.

– Дай Бог! – повторил Скшетуский.

---

<sup>4</sup> спокойно (*лат.*).

<sup>5</sup> таким образом (*лат.*).

– Дайте срок, затянутся, заживут его сердечные раны, и увидим, быть может, вернется к нему прежняя прыть. *Periculum*<sup>6</sup> только в том, чтобы он теперь *sub onere*<sup>7</sup> отчаяния, сгоряча не натворил бы или не надумал чего, о чем сам потом жалеть будет. Но тут уж чему быть, того не миновать, человек в беде на решения скор. А мой казачок уже дорожные платья из сундуков достает и укладывает, и не к тому слова эти, чтоб не ехать, а чтоб утешить вас, друзья, на прощанье.

– Отец, ты опять Михалу повязкой на раны будешь! – воскликнул Ян Скшетуский.

– Как и для тебя был когда-то. Помнишь? Мне бы только отыскать его поскорее. Боюсь, кабы не укрылся он в каком монастыре или не ускакал в степи, ему там каждый кустик родня. Ты, пан Кмициц, о летах моих намекнул, только вот что я тебе скажу: ни одному гонцу с письмом за мной не угнаться, и, коли вру, вели мне, когда вернусь, нитки из тряпья выдергивать, горох лущить, а то и за прялку усади. Меня дорога не испугает, хлебосолюство чужое не задержит в пути, пирушки и попойки не введут в соблазн. Вы такого гонца еще и не видывали. Вот и сейчас меня словно кто шилом из-под лавки на подвиг толкает, я уже и рубашку дорожную козлиным жиром от блох смазать велел...

---

<sup>6</sup> опасность (*лат.*).

<sup>7</sup> Зд.: в порыве (*лат.*).

## Глава III

Однако, вопреки собственным заверениям, пан Заглоба ехал без особой спешки. Чем ближе он подъезжал к Варшаве, тем чаще делал остановки в пути. Это было время, когда Ян Казимир, король, политик и славный вождь, погасив угрожавшие Польше со всех сторон пожары и вызволив Речь Посполитую из вод потопа, отрекся от трона. Все он вынес, все претерпел, подставляя грудь под удары, что отовсюду сыпались на отечество, но, когда, одолев многочисленных врагов, у себя дома реформы провести задумал и вместо поддержки лишь упрямство и неблагодарность встретил, корона непосильной тяжестью для него стала, и он по доброй воле от нее отказался.

Уездные и генеральные сеймики уже завершились, ксендз примас Пражмовский назначил конвокационный сейм на пятое ноября.

Страсти бушевали, соперничество между партиями разгоралось, но хотя все споры могло решить лишь само избрание, сейм также вызвал немалое оживление.

Депутаты ехали в Варшаву и в каретах, и верхами, с прислугой и челядинцами, ехали и сенаторы, каждый со своим двором. Все дороги были забиты, гостиницы тоже, поиски ночлега становились все обременительнее. Но ради почтенного пана Заглобы всяк рад был потесниться, а нередко слава его становилась и помехой в пути.

Бывало, завернет он на постоялый двор, где яблоку упасть негде, но расположившийся там со своей челядью вельможа непременно выйдет полюбопытствовать, кого это Бог послал, а увидев почтенного старца с белыми как молоко усами и бородой, любезно скажет:

– Милости просим к нашему скромному столу.

Пан Заглоба, будучи человеком учтивым, услышав такое приглашение, никому отказать не мог, полагая, что везде окажется желанным гостем. И когда хозяин, распахнув перед ним дверь, спрашивал: «С кем имею честь?», подбоченясь и заранее радуясь эффекту, отвечал двумя словами: «Заглоба sum!»

И ни разу не случилось, чтобы после этих двух слов его не встретили с распростертыми объятиями и возгласами: «День сей на скрижалях памяти моей увековечу!..» Хозяин тотчас же созывал друзей и дворян: «Глядите, вот он, доблестный муж, gloria et decus<sup>8</sup> славного рыцарства Речи Посполитой!» Люди обступали Заглобу со всех сторон, а молодые целовали полы его дорожного жупана. После этого с возов подавали бочки и бутылки с вином, и порой всеобщему gaudium<sup>9</sup> не видно было конца.

Обычно полагали, что Заглоба едет депутатом на сейм, а когда он отвечал, что нет, слова его вызывали искреннее удивление.

Он ссылался на то, что уступил свой мандат пану Домашевскому, пусть-де молодые общему делу послужат. Одним он открывал свои карты, от других, когда его одолевали распросами, отделялся такими словами:

– Я к войнам с малолетства приучен, вот и решил малость Дороша пощекотать.

После этих слов всеобщему восхищению не было границ. Не проигрывал он во мнении окружающих и при известии, что не выбран на сейм депутатом, все знали, что иной арбитр двух депутатов стоит. Да и любой, даже самый важный сенатор помнил о том, что, как только подойдет время выборов, каждое слово столь славного рыцаря на вес золота будет.

Знатные господа не скупились на почести и заключали его в объятия. В Подляском повете три дня вино лилось рекой. Паны, которых Заглоба в Калужине повстречал, на руках его носили.

---

<sup>8</sup> краса и гордость (лат.).

<sup>9</sup> веселью (лат.).

Не обходилось и без подарков, которые делались невзначай: в своей повозке Заглоба частенько находил вино, водку, а бывало, и ларцы в драгоценной оправе, пистолеты, сабли.

Челядинцы пана Заглобы тоже не оставались в накладе, и, вопреки всем обещаниям, ехал он так медленно, что на третью неделю едва добрался до Минска.

Но в Минске удача ему изменила. Въехав на площадь, Заглоба увидел, что попал ко двору какого-то вельможи, должно быть весьма знатного: дворяне в парадном платье, пехоты чуть ли не полк, правда безоружной, потому что на сейм с войском ехать не полагалось, но молодцы как на подбор и разодеты пышнее, чем гвардейцы у шведского короля. Кругом золоченые кареты, повозки с гобеленами и коврами – в гостиницах на стены вешать, телеги с кухонной утварью и провизией, прислуга сплошь иностранцы: со всех сторон слышна чужая речь.

Увидев наконец какого-то дворянина в польском платье, пан Заглоба, предвкушая добрую пирушку, велел остановиться и, высунув одну ногу из повозки, сказал:

– А чей же это двор, такой роскошный, что и королевскому, поди, не уступит?

– Чей же еще, – ответил тот, – коли не нашего господина, князя конюшего литовского?

– Чей-чей? – переспросил Заглоба.

– Да вы, никак, оглохли, ваша милость? Князя нашего Богуслава Радзивилла, что на сейм послом едет, а после выборов, Бог даст, и королем нашим станет!

Заглоба быстро сунул ногу обратно.

– Езжай! – крикнул он кучеру. – Мне здесь делать нечего.

«Боже праведный! – воскликнул он, дрожа от негодования. – Пути твои неисповедимы, и, коли не покараешь ты этого предателя, значит, есть у тебя какие-то скрытые от нас, непосвященных, помыслы, хотя, ежели рассуждать чисто по-человечески, этот прохвост заслуживает хорошей розги. Но, должно быть, нет порядка в Речи Посполитой, коли подлые людишки, стыд и совесть потерявшие, разъезжают как ни в чем не бывало с эдакой свитой! Мало этого. Дела государственные вершат. Нет, видно, пришел нам конец, потому что где, в каком другом государстве такое возможно? Всем хорош был король *Joannes Casimirus*, но добр чересчур, он и лихоимцев избаловал вконец, к безнаказанности приучив, все им с рук сходило. Впрочем, не он один виноват. Должно быть, нет больше в нашем народе ни совести гражданской, ни понятия о справедливости. Тьфу ты пропасть! Он – и вдруг депутат! Ему граждане целостность и безопасность отечества вверяют, в его подлые руки передают, в те самые руки, которыми он родину терзал и в шведские цепи заковывал! Пропали мы, пропали, не иначе. Его еще и в короли прочат... Ну что ж! Видно, у нас все возможно. Он – депутат! О Боже, ведь в законе черным по белому написано, что не может быть депутатом тот, кто в чужих государствах должности занимает, а ведь он в прусском княжестве у своего дядюшки поганого генерал-губернатор. Ну, погоди, я тебя за руку схвачу! А проверка полномочий на что? Пусть я бараном буду, а кучер мой мясником, если сам я не проберусь в зал и как простой арбитр этой материи не затрону. У депутатов заручусь поддержкой. Не знаю, смогу ли я тебя, предатель, вельможу и эдакого туза, одолеть и полномочий лишить, но до избрания не дойдет дело, за это я ручаюсь. Бедняге Михалу подождать придется, потому что я здесь *pro publico bono*<sup>10</sup> пекусь».

Так рассуждая, пан Заглоба решил заняться проверкой полномочий и для этого перетянуть на свою сторону кое-кого из депутатов. И посему он из Минска до Варшавы ехал не мешкая, чтобы успеть к сейму.

Впрочем, добрался он загодя. Но депутатов и людей праздных было столько, что жилья ни в самой Варшаве, ни в Праге, ни в других предместьях нельзя было сыскать ни за какие деньги; трудно было и напроситься к кому-нибудь: в любой каморке по три-четыре гостя теснились. Первую ночь пан Заглоба провел в погребке у Фукера вполне безмятежно, но на другой день, протрезвев и очутившись снова в своем возке, порядком раскис.

---

<sup>10</sup> для общего блага (*лат.*).

– Боже мой, Боже! – восклицал он в сердцах, проезжая по Краковскому предместью и оглядываясь по сторонам, – вот костел бернардинов, вот руины дворца Казановских. О, неблагодарный город! Я сражался, живота не жалея, лишь бы тебя из рук неприятеля вырвать, а теперь ты, седины мои презрев, угла для меня жалеешь.

Впрочем, город вовсе не жалел для почтенного старца угла, но, увы, такового не было.

И все же недаром люди говорили, что пан Заглоба родился под счастливой звездой: не успел он доехать до дворца Конецпольских, как кто-то со стороны окликнул кучера:

– Стой!

Челядинец попридержал коней, и к возку с веселой улыбкой подбежал незнакомый шляхтич.

– Пан Заглоба! Неужто не узнаете меня, ваша милость?! – воскликнул он.

Перед Заглобой стоял мужчина лет эдак около тридцати, в рысьей шапке с пером, что сразу говорило о принадлежности его к войску, в алом жупане и темно-красном кунтуше с тканым золотом поясом. Лицо незнакомца невольно обращало на себя внимание. Он был бледен, степные ветры лишь самую малость обожгли загаром его щеки, большие голубые глаза глядели задумчиво и грустно, правильность черт казалась даже несколько нарочитой; он носил польское платье, но волосы у него были длинные, а борода подстрижена на иностранный манер. Остановившись возле возка, незнакомец уже раскрыл руки для объятий, а пан Заглоба, по-прежнему недоумевая, перегнулся и обнял его за шею.

Они все лобызались, но Заглоба время от времени норовил отстраниться, чтобы получше разглядеть незнакомца, и наконец, не выдержав, сказал:

– Прости, сударь, никак не вспомню, с кем имею честь...

– Гасслинг-Кетлинг!

– Господи Боже! Вижу, лицо знакомое, но в этой одежде тебя не узнать, раньше, помнится, носил ты рейтарский колет... Теперь, я вижу, и платье у тебя польское?

– Речь Посполитую, что меня, скитальца, в юные годы обогрела и накормила, матерью своей считаю, об иной не помышляя. А известно ли тебе, сударь, что после войны я и гражданство польское принял?

– Приятную новость слушать приятно. Повезло тебе, однако!

– И не только в этом, потому как в Курляндии, возле самой Жмуди, встретил я однофамильца, он меня усыновил, гербом своим одарил и часть наследства передал. Живет он в Свентей, в Курляндии, но и здесь у него есть небольшое имение – Шкуды, он на меня его записал.

– Пошли тебе Бог удачи! Стало быть, ты и воевать бросил?

– Если представится случай, за мною дело не станет. Я и деревеньку в аренду отдал, а тут оказии жду.

– Ну ты хват! Совсем как я в молодые годы, Впрочем, и сейчас есть еще порох в порохницах. Что в Варшаве подельваешь?

– Приехал депутатом на сейм.

– Матерь Божья! Да ты, я вижу, по всем статьям поляк!

Рыцарь улыбнулся.

– Душой я поляк, а это, пожалуй, всего важнее.

– Женился?

Кетлинг вздохнул:

– Пока нет!

– А жаль! Но погоди! А Впрочем, признайся, может, ты все еще по Оленьке Билевич вздыхаешь?

– Коли тебе и это, сударь, ведомо, а я полагал, что это моя тайна, так знай, нет у меня пока другого предмета для вздыханий...

– Опомнись, братец! Она вот-вот нового Кмицица нам подарит. Опомнись! Неблагодарное это занятие – вздыхать по той, что давным-давно в мире и согласии с другим поживает. Сказать по правде, это смешно...

Кетлинг вознес грустные очи к небу.

– Я сказал лишь, что пока другого предмета нету!

– Ну это уже полбеды! Женим мы тебя. Вот увидишь! По собственному опыту знаю, что в любви излишнее постоянство одни неприятности сулит. И я в свое время был постоянен, как Троил, а уж как настрадался, сколько добрых партий упустил!

– Дай Бог каждому такой бодрости в столь преклонные годы!

– Жил всегда в благочестии, потому ни один суставчик у меня не болит! Где остановился, братец, нашел ли себе пристанище?

– Домик мой под Мокотовом, хорош и удобен, я после войны его ставил.

– Счастливчик! А я со вчерашнего дня по всему городу гоняю, и без толку.

– Любезный друг! Сделай одолжение! Милости прошу ко мне. Уж в этом ты мне не откажешь! Поживи у меня – во дворе, кроме дома, флигель, конюшни. И для челяди, и для лошадей места хватит.

– Видно, небо мне тебя послало, ей-богу.

Кетлинг забрался в повозку, и они поехали.

Всю дорогу Заглоба рассказывал ему, какое с паном Володыёвским стряслось несчастье, а Кетлинг, впервые об этом слыша, в отчаянии ломал руки.

– Твое известие и для меня нож острый, быть может, ты и не знаешь, как мы с ним в последнее время дружили. В Пруссии вместе крепости брали, шведов выкуривали. С паном Любомирским воевали и на Украину хаживали, во второй-то раз после смерти князя Иеремии, под началом коронного маршала Собеского. Из одной чашки ели, одно седло нам подушкой служило. Кастором и Поллуксом нас называли. И только когда Михал за панной Борзобогатой на Жмудь поехал, час *separationis*<sup>11</sup> настал, но кто мог подумать, что счастье его, уподобившись стреле на ветру, столь мимолетным оказалось.

– Нет ничего вечного в сей юдоли печали, – отвечал Заглоба.

– Ничего, кроме истинной дружбы... Хорошо бы разведать, где он теперь. Может, коронный маршал даст совет, он Михала как родного сына любит. А коли нет, так ведь сюда выборщики со всех сторон понаехали. Быть не может, чтобы никто ничего о столь славном рыцаре не слышал. Я вам, сударь, помочь рад и для брата родного не сделал бы больше.

Так, беседуя, добрались они и до кетлингского домика, который на деле изрядным доминой оказался. Там было и богатое убранство, и немало диковинок всяких – среди них и купленные, и трофеи всевозможные. А уж оружия – видимо-невидимо. Пан Заглоба расчувствовался вконец:

– Ого! Да ты, я вижу, и двадцать человек принял бы без труда. Видно, фортуна мне улыбнулась, нашей встрече способствуя. Я мог бы и у пана Антония Храповицкого остановиться, он старинный мой друг и приятель. И Пацы меня к себе заманивали, они против Радзивиллов людей собирают, но я тебе предпочтение отдал.

– Слышал я от стороны литовской, – сказал Кетлинг, – что теперь, когда до Литвы черед дошел, маршалом сейма Храповицкого назначат!

– И поступят верно. Человек он почтенный, судит здраво, впрочем, пожалуй, чересчур. Для него согласие важнее всего. Уж очень он всех мирить любит. А это пустая затея. Но все же, скажи мне по чести, что думаешь ты о Богуславе Радзивилле?

– С той поры, как татары Кмицица меня под Варшавой в полон захватили, слышать о князе не хочу. Службу свою я оставил и больше о ней хлопотать не стану – сила у князя боль-

<sup>11</sup> разлуки (лат.).

шая, но человек он злой и коварный. Вдоволь я на него нагляделся, когда он в Таурогах на добродетель этого ангела, этого небесного создания покушался.

– Небесного? Подумай, что говоришь! Она из той же глины, что и все прочие, вылеплена и, как любая другая кукла, разбиться может. Да, впрочем, не о ней речь!

Заглоба вдруг покраснел и вытаращил глаза от гнева.

– Подумать только, эта шельма – депутат?!

– О ком ты? – удивленно спросил Кетлинг, у которого Оленька все еще была на уме.

– Да о Богуславе Радзивилле. Но проверка полномочий на что? Слушай, ты ведь и сам депутат, можешь этой материи коснуться, а уже я подам сверху голос, не бойся! На нашей стороне закон, а они его обойти хотят, ну что же, можно и среди арбитров смуту устроить, да такую, что кровь прольется.

– Не затевай смуты, сударь, Христом-Богом молю. Материи я коснусь, это резонно, но Боже избави на сейме посеять смуту.

– Я и к Храповицкому пойду, хоть он ни рыба ни мясо, жаль. У него, как у будущего маршала, многие судьбы в руках. Я и Пацев на князя напушу. Про все его проделки объявлю публично. Ведь слышал же я в дороге, что пройдоха этот в короли метит!

– До полного падения должен дойти народ, да и не заслуживает иной участи, ежели избереет себе такого короля, – отвечал Кетлинг. – А теперь, ваша милость, отдохните хорошенько, а потом наведемся к пану коронному маршалу – может, что о Михале разузнаем.

## Глава IV

Через несколько дней завершился сейм, где, как и предсказывал Кетлинг, маршальский жезл был вручен пану Храповицкому, тогдашнему подкоморию смоленскому, ставшему позднее воеводой витебским. Речь шла об определении дня выборов и назначении высокого совета. Интриги разных сторон в подобных делах значили не слишком много, и потому казалось, сейм пройдет мирно. Но с самого начала спокойствие было нарушено проверкой выборных полномочий. Когда депутат Кетлинг усомнился в выборных правах пана бельского писаря и его друга князя Богуслава Радзивилла, из толпы арбитров тотчас же раздался зычный бас: «Предатель! Чужим господам служит!» Этот голос был подхвачен и другими, их примеру последовал кто-то из депутатов, и неожиданно сейм распался на две враждующие партии: одна хотела лишить бельских депутатов выборных прав, другая всячески их выгораживала. Пришлось обратиться в суд, который утихомирил спорщиков, признав права Радзивилла законными.

И все же для князя конюшего это был тяжкий удар: одно то, что кто-то посмел усомниться в его правах, *согат publico*<sup>12</sup> заявил про его измены и вероломство во время последней войны со шведами, опозорив его перед всей Речью Посполитой, выбило у честолюбца почву из-под ног. Ведь он, разумеется, рассчитывал на то, что, когда сторонники Конде схватятся с приверженцами Нейбурга и Лотарингии, не говоря уж о всякой мелочи, депутаты подумают: не лучше ли поискать достойного человека среди своих, и выбор их падет на соотечественника. Гордыня да и льстецы нашептывали ему, что таким человеком может быть только он, муж большого ума, доблестный, знатный, сиятельный рыцарь, словом – он, и никто другой.

Храня дела свои в глубокой тайне, князь давно уже раскинул сети в Литве, а теперь забросил их и в Варшаве, и тут на тебе, сеть тотчас прорвали, да так, что вот-вот уйдет вся рыба. На суде, разбиравшем дело, князь скрежетал зубами от злости, но Кетлинг был ему не подвластен, и тогда Радзивилл посулил награду тому, кто укажет на арбитра, вслед за Кетлингом провозгласившего на весь зал: «Изменник и предатель!»

Пан Заглоба был слишком известен, чтобы имя его могло оставаться в тайне, да он и не таился. А князь, проведая, с кем имеет дело, хоть и пришел в ярость, но не решился все же выступить против всеобщего любимца.

Пан Заглоба, разумеется, знал себе цену и, услышав про угрозы князя, при всей шляхте сказал невзначай:

– Ежели с моей головы упадет хоть волос, кое-кому солоно придется. Коронация не за горами, а тут, коли собрать братских сабель тысяч сто, недолго и до резни...

Слова эти дошли до князя, он закусил губу в презрительной усмешке, но в душе признал, что Заглоба прав.

Уже на другой день он, должно быть, переменял свои намерения и, когда на пиру у князя кравчего кто-то вспомнил про Заглобу, сказал:

– Слышал я, этот шляхтич меня не жалует, но я так старых рыцарей ценю, что все ему наперед прощаю.

А через неделю на приеме у пана гетмана Собеского он повторил эти слова самому Заглобе.

Увидев князя, Заглоба и бровью не повел, лицо его по-прежнему хранило спокойствие, и все же ему было не по себе, все знали, что князь человек влиятельный и опасный, сущий злыдень. А князь между тем обратился к нему с другого конца стола с такими словами:

---

<sup>12</sup> при народе (*лат.*).

– Почтеннейший пан Заглоба, до слуха моего дошла весть, что вы, не будучи депутатом, задумали меня ни за что ни про что моих полномочий лишить, но я по-христиански вам прощаю, а коли надо, готов и протекцией послужить.

– Коли обо мне речь, то я следовал конституции, – отвечал Заглоба, – что долгом каждого шляхтича почитаю, *quod attinet*<sup>13</sup> протекции, то в мои-то годы ее мне может составить только Бог, ведь мне как-никак под девяносто.

– Почтенный возраст, если жизнь ваша была столь же добродетельной, сколь и долгой, в чем, впрочем, я ничуть не сомневаюсь...

– Служил отчизне и своему господину, об иных господах не помышляя.

Князь слегка поморщился.

– А против меня замыслили недоброе, почтеннейший, слышал я и об этом. Но да будет меж нами мир. Все забыто, даже и то, что вы, сударь, натравляли *contra me*<sup>14</sup> моих завистников. Быть может, с давним недругом моим я еще и сочтусь, но вам готов протянуть руку дружбы.

– Чином я не вышел, да и слишком высокая это для меня честь. Для такой дружбы мне пришлось бы все время подпрыгивать или карабкаться, а это на старости лет куда как тяжело. Ежели вы, ясновельможный князь, с моим другом Кмицием счеты свести намерены, то от души советую: откажитесь от такой арифметики.

– Разрешите узнать почему?

– В арифметике четыре действия. Может, у пана Кмицица доход и неплохой, да по сравнению с вашими богатствами это мелочь, стало быть, делить его он не согласится; умножением занят сам; отнять у себя ничего не позволит; мог бы, пожалуй, кое-что добавить, да не знаю, ваша княжеская милость, по вкусу ли будет вам его угощение.

И хотя князь не раз принимал участие в словесных поединках, то ли рассуждения, то ли дерзость старого шляхтича до того его поразили, что он онемел. У гостей животы затряслись от смеха, а пан Собеский, громко расхохотавшись, сказал:

– Узнаю старого збаражца! У него не только сабля, но и язык остер! Лучше такого не задирать.

Князь Богуслав, видя, что Заглоба непреклонен, не пытался больше его переманивать, но во время застолья невзначай бросал на старого рыцаря злые взгляды.

Гетман Собеский, войдя во вкус, продолжал разговор:

– Великий вы, сударь, искусник в любом поединке, одно слово – мастер. Найдутся ли равные вам в Речи Посполитой?

– Саблей Володыёвский владеет не хуже, – отвечал довольный Заглоба. – Да и Кмициц прошел мою школу.

Сказав это, он взглянул на Радзивилла, но князь притворился, что не слышит, и как ни в чем не бывало о чем-то беседовал с соседом.

– О да! – согласился гетман. – Я Володыёвского не раз в деле видывал и готов довериться ему, даже если речь пойдет о судьбах всего христианства. Жаль, такого солдата беда словно буря подкосила.

– А что так? – спросил Сарбевский, цехановский мечник.

– Суженая его по дороге домой, в Ченстохове, отдала Богу душу, – сказал Заглоба, – но хуже всего, что я никак узнать не могу, куда он сам девался.

– Стойте! – воскликнул краковский каштелян пан Варшицкий. – Так ведь я встретил его, еду в Варшаву, сказал он, что, от мирской суеты устав, решил на *Mons regius* удалиться, дабы там в посте и молитвах свой земной путь закончить.

Заглоба схватился за поредевший чуб.

---

<sup>13</sup> что касается (*лат.*).

<sup>14</sup> против меня (*лат.*).

– Камедулом заделался, камедулом, не иначе! – крикнул он в отчаянии.

Рассказ пана Варшицкого взбудоражил всех.

Гетман Собеский, который в солдатах души не чаял и лучше, чем кто другой, знал, как нужны они отчизне, опечалившись, сказал с досадою:

– Человеческой вольной воле и славе Божьей противиться грех, а все же жаль, не буду от вас скрывать, большая это потеря. Солдат он был хоть куда, старой выучки, школы князя Иеремии, такой в любом бою хорош, а уж против орды и нечисти всякой надежней защитника не найти. В степях у нас всего лишь несколько таких наездников найдется: у казаков – пан Пиво, а в нашем войске пан Рушиц, но куда им до Володыёвского.

– Счастье еще, что времена теперь поспокойнее, – заметил цехановский мечник, – и что нехристи эти блюдут подгаецкие трактаты, несравненным мечом моего благодетеля добытые.

Тут пан мечник склонился перед гетманом Собеским, а тот, польщенный высказанной при всех похвалой, отвечал:

– Всевышнего надо благодарить за то, что он дозволил мне лечь как верному псу на пороге Речи Посполитой и врагов ее покусать без жалости. Да еще солдатыкам нашим за верную службу спасибо. Хан был бы рад следовать трактатам, это доподлинно мне известно, но и в самом Крыму согласия нет, а уж белгородская орда и вовсе из повиновения вышла. Известие пришло, что на молдавских рубежах собираются тучи, вот-вот буря грянет; я приказал следить за дорогами; да только солдат мало. Нос выгацишь – хвост увязнет, а уж старые вояки, те, что орду со всеми ее уловками знают, и вовсе наперечет, потому я и говорю: худо нам без Володыёвского!

Тут Заглоба, который все еще держался за голову, взмахнул руками и воскликнул:

– Клянусь, не будет он камедулом, не допущу до этого, пусть даже мне придется налет на Mons regius устроить и силой его увести. Завтра с утра за ним еду. Может, он меня послушает, а нет – я до генерала всех камедулов, до самого ксендза примаса доберусь, даже если ради этого мне в Рим ехать придется. Не хочу я умалять славу Божью, но какой из него камедул, у него и волосы-то на подбородке не растут. Их не более, чем на моем кулаке. Ей-богу! Он и молитвы-то петь не умеет, а если и запоет, то все крысы из монастыря разбегутся, подумают, кот замаякал, свадьбу справляя. Не взыщите, что я в простоте душевной это вам говорю. Был бы у меня родной сын, не любил бы я его так, как этого молодца. Бог ему судья! Ну ладно, бернардинцем стал бы, а то на тебе – камедул. Нет, покуда я жив, не бывать этому. С самого утра к ксендзу примасу пойду, просить письма к приору.

– Пострижения еще быть не могло, – перебил его мечник. – Но ты, сударь, его не торопи, а то заупрямится, да ведь и то сказать, вдруг в этом желании воля Божья таится.

– Воля Божья – да вдруг? Вдруг черт берет на испуг, говорит старая пословица. Если бы на то Божья воля была, я давно бы в нем призвание почувствовал, да только он не ксендз, а драгун. Если бы он доводам разума следовал, я бы смирился, но Божья воля не налетает на человека, как ястреб на птичку. Я принуждать его не стану. По дороге обдумаю во всех тонкостях, как дело повести, дабы он из-под рук моих не ушел, но на все воля Божья! Всегда наш солдатик моим суждениям больше, чем своим собственным, верил, даст Бог, если он хоть немного на себя похож, и на сей раз так будет.

## Глава V

На другой день, заручившись письмом от ксендза примаса и обсудив весь план действий с Кетлингом, Заглоба позвонил в колокольчик у монастырских ворот на Mons regius. С волнением ждал он, как-то примет его Володыёвский. При одной мысли об этом сердце его билось чаще; разумеется, он обдумал предстоящий разговор во всех тонкостях и теперь размышлял, с чего начать, понимая, что многое решат первые мгновения. С этой мыслью он зазвонил в колокольчик, раз-другой, а когда в замке скрипнул ключ и калитка слегка приоткрылась, не слишком церемонясь, решительно подался вперед, а оторопевшему монашку сказал:

– Знаю, у вас свои законы, сюда не каждый войдет, но вот у меня письмо от ксендза примаса, не откажи в любезности, *carissime frater*<sup>15</sup>, передать сие послание отцу приору.

– Желание ваше будет исполнено, – сказал монашек, склонившись в поклоне при виде примасовой печати.

Промолвив это, он потянул за прикрепленный к язычку колокольчика ремень, раз-другой, чтобы позвать кого-то, потому что сам отойти от ворот не смел.

По зову колокольчика явился другой монах и, забрав письмо, в молчании удалился, а пан Заглоба положил на лавку узелок, который держал в руках, и сел тут же, с трудом переводя дух.

– *Frater*, – сказал он наконец, – давно ли ты в монахах ходишь?

– Скоро пять лет, – отвечал привратник.

– Подумать только, такой молодой – и пять лет. Теперь, поди, даже если бы и захотелось покинуть эти стены, поздно. Небось тоскуете иногда по мирской жизни, одного военная служба влечет, другого – забавы да пирушки, у третьего вертихвостки всякие на уме...

– *Apage!*<sup>16</sup> – сказал монашек с чувством и перекрестился.

– Так как же? Неужто соблазны не смущали? – повторил Заглоба.

Но монашек с недоверием глянул на этого посланца духовной власти, речи которого звучали столь непривычно, и сказал:

– Тому, за кем эти двери закрылись, назад дороги нет.

– Ну это мы поглядим! Как там пан Володыёвский? Здоров ли?

– Тут нет никого, кто носил бы это имя.

– Брат Михал, – сказал наудачу пан Заглоба. – Бывший драгунский полковник, что недавно к вам пожаловал?

– Это, должно быть, брат Ежи, но обета он не давал, срок не подошел.

– И не даст, наверное, потому что и не поверишь, *frater*, какой это был сердцеед! Другого такого повесы и греховодника ни в одном монасты... тьфу ты пропасть, я хотел сказать, ни в одном полку не сыщешь, хоть все войско перебери!

– Такие речи мне и слушать негоже, – сказал монах, дивясь все больше и больше.

– Вот что, *frater!* Не знаю, где у вас мода гостей принимать, если здесь, советую удалиться, вот хотя бы в ту келью у ворот, потому как у нас разговоры пойдут мирские.

– Уйду хоть сейчас, от греха подальше, – сказал монах.

Тем временем появился Володыёвский, иначе говоря, брат Ежи, но Заглоба не узнал его, так сильно он переменялся.

В белом монашеском одеянии Михал казался чуть выше, чем в драгунском колете, когда-то лихо закрученные вверх, чуть ли не до самых глаз, усы теперь обвисли. Брат Ежи, должно быть, пытался отпустить бороду, и она топорщилась русыми клочьями не более чем на пол-

---

<sup>15</sup> дорогой брат (*лат.*).

<sup>16</sup> Изъиди! (*лат.*)

пальца в длину; он отощал и даже высох, а главное, глаза у него потускнели. Опустив голову и спрятав на груди под рясой руки, бедняга шел, едва передвигая ноги.

Заглоба поначалу не узнал его и, решив, что сам приор вышел его встретить, встал с лавки и начал первые слова молитвы:

– *Laudetur...*<sup>17</sup>

Но, присмотревшись, раскинул руки и воскликнул:

– Пан Михал! Пан Михал!

Брат Ежи не противился объятиям, что-то похожее на рыдание всколыхнуло его грудь, но глаза по-прежнему оставались сухими.

Заглоба долго прижимал его к груди и наконец заговорил:

– Не одинок ты был, оплакивая свое несчастье. Плакал я, плакали Кмищицы и Скшетуские. На все воля Божья! Смирись с нею, Михал! Пусть же тебя Отец милосердный вознаградит и утешит! Мудро ты поступил, отыскав себе сию пристань. В час скорби мысли о Боге – лучшее утешение. Дай-ка еще раз прижму тебя к сердцу. Вот и не вижу тебя совсем – слезы глаза застыт.

Пан Заглоба, глядя на Володыёвского, и в самом деле растрогался до слез, а выплакавшись, сказал:

– Прости, брат, что вторгся в тихую твою обитель, но не мог я поступить иначе, да и сам ты с этим согласишься, доводы мои послушав! Ах, Михал, Михал! Сколько мы вместе пережили и дурного и хорошего! Нашел ли ты за этой оградой хоть какое-то утешение?

– Нашел, – отвечал пан Михал, – нашел в словах, что денно и ночью тут слышу, и твержу, и готов твердить до самой смерти. *Memento mori!*<sup>18</sup> В смерти мое утешение.

– Гм! Смерть куда легче на поле битвы найти, чем в монастыре, где жизнь идет день за днем, будто кто понемногу клубок разматывает...

– Тут нет жизни, нет земных дел, и душа, еще не расставшись с телом, уже в ином мире обитает.

– Коли так, не стану тебе говорить, что белгородская орда на Речь Посполитую зубы точит, твое ли это теперь дело?

Усы пана Михала вдруг встопорщились, правая рука невольно потянулась влево, но, не найдя сабли, снова исчезла под одеянием. Он опустил голову и сказал:

– *Memento mori!*

– Верно, верно! – сказал Заглоба, с явным нетерпением моргая здоровым глазом. – Только вчера гетман Собеский сказывал: «Пусть бы Володыёвский еще и эту бурю с нами встретил, а потом пусть идет в любой монастырь. Господь на него за это не разгневется, наоборот, был бы монах хоть куда». Но трудно и удивляться, что собственное спокойствие тебе покоя родины дороже, как говорится: *prima caritas ab ego.*<sup>19</sup>

Наступило долгое молчание, только усы у пана Михала дрогнули и встопорщились.

– Обета не давал? – спросил вдруг Заглоба. – Стало быть, хоть сейчас можешь отсюда выйти?

– Монахом я не стал, потому что ждал на то Божьего благословения и того часа, когда горестные мысли перестанут томить душу. Но Божья благодать на меня снизошла, спокойствие возвратилось, стены эти я покинуть могу, но не хочу; приближается срок, когда я с чистым сердцем, земных помыслов чуждый, дам наконец обет.

– Не хочу я тебя отговаривать, да и рвение твое мне по душе, хотя, помнится, Скшетуский, надумав постричься в монахи, ждал, когда над отечеством стихнет буря. Делай как знаешь.

---

<sup>17</sup> Да прославится... (*лат.*)

<sup>18</sup> Помни о смерти! (*лат.*)

<sup>19</sup> Зд.: своя рубашка ближе к телу (*лат.*).

Ей-ей, не стану отговаривать, я ведь и сам когда-то о монастырской обители мечтал. Было это полвека назад, помнится, стал я послушником; с места мне не сойти, коли вру. Но увы! Господь распорядился иначе... Об одном тебя только прошу, Михал, выйди отсюда хоть на денек.

– Зачем? Оставьте меня в покое! – отвечал Володыёвский.

Заглоба заплакал в голос, утирая слезы полой кунтуша.

– Для себя, – говорил он, – для себя не ищу я помощи и защиты, хотя князь Богуслав Радзивилл только и помышляет о мести да убийц ко мне подсылает, а меня, старого, уберечь и оградить от него некому. Думал, что ты... Ну да полно об этом! Я все равно тебя как сына любить буду, даже если ты в мою сторону и не глянешь... Об одном прошу, молись за мою душу, потому что мне от рук Богуславовых не уйти!.. Будь что будет! Но знай, что другой твой товарищ, который последним куском с тобой делился, лежит на смертном одре и непременно повидать тебя хочет, дабы облегчить и успокоить свою душу перед кончиной.

Пан Михал, с волнением слушавший рассказ о грозивших Заглобе опасностях, тут не выдержал и, схватив его за плечи, спросил:

– Кто же это? Скшетуский?

– Не Скшетуский, а Кетлинг!

– Бога ради, что с ним?

– Меня защищая, тяжело ранен был приспешниками князя Богуслава и не знаю, протянет ли еще хоть денек. Ради тебя, Михал, решились мы на все, только для того и в Варшаву приехали, об одном помышляя, как тебя утешить. Выйди отсюда хоть на два денечка, порадууй больного перед смертью. А потом вернешься... примешь обеты... Я привез письмо от отца примаса к приору, это чтобы тебе не ставили препоны. Торопись, друже, медлить некогда.

– Боже милостивый! – воскликнул Володыёвский. – Что я слышу! Препоны мне ставить и так не могут, я здесь всего лишь послушник. Боже ты мой, Боже! Просьба умирающего свята! Ему я отказать не могу!

– Смертельный был бы грех! – воскликнул пан Заглоба.

– Истинная правда! Всюду этот предатель Богуслав! Вовек не увидеть мне этих стен, если я за Кетлинга отомстить не сумею. Уж я его приспешников, убийц этих, разыщу, я им головы посшибаю! Боже милостивый, уже и мысли грешные одолевать стали! Memento mori! Послушай, друг, я сейчас переоденусь в прежнее платье, в этом выходить мне в мир не пристало...

– Вот одёжка! – крикнул Заглоба, протягивая руки к узелку, который лежал тут же на скамье. – Все я предусмотрел, все приготовил... Тут и сапоги, и сабля отменная, и кунтуш.

– Прошу ко мне в келью, – торопливо сказал маленький рыцарь.

Они скрылись в келье, а когда появились снова, то рядом с Заглобой шел уже не монашек в белом одеянии, а офицер в желтых ботфортах, с саблей на боку, с белой португеей через плечо.

Заглоба знай себе подмигивал, а увидев привратника, который с явным возмущением открыл ворота, улыбнулся в усы.

В сторонке от монастыря, чуть пониже, стоял возок пана Заглобы с двумя челядинцами: один сидел на козлах, придерживая вожжи отлично запряженной четверки, которую пан Володыёвский невольно окинул взглядом знатока, другой стоял рядом – в правой руке он держал заплесневелую бутылку с вином, в левой – два кубка.

– До Мокотова путь неблизкий, – сказал Заглоба, – а у ложа Кетлинга ждет нас великая скорбь. Выпей, Михал, чтобы легче тебе было снести удары судьбы, а то ослаб ты, как погляжу.

Сказав это, Заглоба взял из рук у слуги бутылку и наполнил кубки загустевшим от старости венгерским.

– Достойный напиток, – заметил он, поставив бутылку на землю и беря в руки кубки. – За здоровье Кетлинга!

– За здоровье! – повторил Володыёвский. – Едем!

Залпом опрокинули кубки.

– Едем! – повторил Заглоба. – Наливай, мальчик! За здоровье Скшетуского! Едем!

Снова выпили залпом, и в самом деле пора было в путь.

– Садимся! – воскликнул Володыёвский.

– Неужто ты за мое здоровье не выпьешь? – с чувством спросил Заглоба.

– Давай, да поживее!

В третий раз опрокинули кубки. Заглоба выпил залпом, хотя в кубке было эдак с пол-кварты, и, не успев даже обтереть усов, жалобно завопил:

– Был бы я тварью неблагодарной, если бы не выпил и за тебя. Наливай, мальчик!

– Спасибо, друг! – сказал брат Ежи.

В бутылки показалось дно, Заглоба схватил ее за горло и разбил вдребезги, потому что не выносил вида пустой посуды. На этот раз все быстро уселись и поехали.

Благородный напиток согрел кровь живительным теплом, а души надеждой. Щеки брата Ежи покрылись легким румянцем, взгляд обрел прежнюю быстроту.

Рука его невольно потянулась к усикам, теперь они снова, как маленькие шильца, торчали вверх, едва не касаясь глаз. Он с любопытством оглядывался по сторонам, будто бы видел все вокруг впервые.

Вдруг Заглоба хлопнул себя рукой по коленям и ни с того ни с сего крикнул:

– Гоп! Гоп! Как только Кетлинг тебя увидит, полегчает ему, всенепременно!

И, на радостях обхватив Михала за шею, принялся обнимать его изо всех сил.

Володыёвский не остался у него в долгу, и они с чувством прижимали к груди друг друга.

Ехали молча, но молчание это было целительным.

Тем временем по обеим сторонам дороги появились слободские домики.

Все вокруг так и кипело: туда и сюда спешили мещане, пестро разодетая челядь, солдаты, шляхтичи, разряженные в пух и прах.

– На сейм съехался народ, – объяснял Заглоба, – может, и не всякий по делу, но поглядеть да послушать всем охота. Постоялые дворы да корчмы переполнены – угла свободного не найти, а уж шляхтянок на улице больше, чем волос в бороде!.. До того хороши, канальи, что порой человек готов руками захлопать, аки *gallus*<sup>20</sup> крыльями, и запеть во всю глотку. Гляди! Вон видишь, смуглянка, лакей за ней накидку зеленую несет, вон какая гладкая, а?!

Тут пан Заглоба толкнул Володыёвского кулаком в бок, тот глянул, усы у него встопорщились, глазки блеснули, но в ту же минуту он опомнился, потупил взгляд и после краткого молчания сказал:

– *Memento mori!*

А Заглоба снова обнял его за шею.

– *Per amititiam nostram*<sup>21</sup>, Михал, коли любишь меня, коли уважаешь мою старость, женись! Столько вокруг девиц достойных, женись, говорю!

Брат Ежи с изумлением посмотрел на друга. Пан Заглоба не был пьян, он, бывало, выпивал трижды столько и не заговаривался, стало быть, и сейчас повел такие речи разве что от избытка чувств. Но всякая мысль о женитьбе казалась Михалу кощунством, и в первое мгновение он был так изумлен, что даже не рассердился.

Потом сурово посмотрел на Заглобу и сказал:

– Ты, сударь, должно быть, перебрал малость!

– От души говорю, женись! – повторил Заглоба.

Пан Володыёвский глянул еще угрюмей:

– *Memento mori!*

---

<sup>20</sup> петух (*лат.*).

<sup>21</sup> во имя нашей дружбы (*лат.*).

Но Заглобу не так-то легко было положить на обе лопатки.

– Михал, если ты меня любишь, сделай это ради меня и думать забудь про свое «memento». Repeto<sup>22</sup>, никто тебя не неволит, но только служи Богу тем, для чего он тебя создал, а создал он тебя для сабли, и, должно быть, такова была его воля, коль сумел ты достичь в сем искусстве такого совершенства. Если бы вздумал он сделать из тебя ксендза, то наверное наделил бы иным искусством, а сердце склонил бы к книгам и латыни. Замечал я также, что люди солдат-праведников не меньше чем святых отцов почитают, потому как они в походы против всякой нечисти ходят и граеміа<sup>23</sup> из рук божьих получают, с вражескими знаменами возвращаясь. Все так, не станешь же ты перечить?

– Не стану спорить, да и знаю к тому же, что в поединке словесном мне тебя не одолеть, но и ты, сударь, согласишься, что для печали в монастырских стенах куда больше пищи.

– Ого! Коли так, то уж и вовсе следует монастырские ворота для тоски vitare<sup>24</sup>. Грусть-тоску следует в голоде держать, чтобы она подохла, а тот, кто ее питает, глуп!

Пан Володыёвский не сразу нашелся что сказать и замолк, а через минуту отозвался грустным голосом:

– Ты мне, сударь, о женитьбе не напоминай, такие напоминания только бередают душу. Давней охоты больше нет, слезами смыло, да и годы не те. Вон и чуб у меня уже седой. Сорок два года, а из них двадцать пять лет трудов военных – не шутки, нет, не шутки.

– Боже милосердный, не покарай его за кощунство! Сорок два года? Тьфу! Погляди на меня! У человека вдвое больше за спиной осталось, а порой ох как трудно жар в груди охладить, лихорадку словно пыль вытрясти. Почитай память дорогой своей покойницы! Значит, для нее ты был хорош, а для других стар, негоден?

– Полно, сударь, полно, не бреди душу! – голосом, исполненным грусти, отозвался Володыёвский.

И на усики его закапали слезы.

– Буду нем как рыба, – сказал Заглоба, – но только дай слово чести, что бы там с Кетлингом ни было, месяц ты проведешь с нами. Надо тебе и Скшетуского повидать. Ежели потом в монастырь надумаешь вернуться, никто тебя не задержит.

– Даю слово! – отозвался пан Михал.

И они тут же заговорили о другом. Пан Заглоба рассказывал о сейме, о том, как он выступил против князя Богуслава, вспомнил и об истории с Кетлингом.

Впрочем, он частенько прерывал рассказ, полностью отдаваясь своим мыслям. Должно быть, мысли это были веселые, потому что он время от времени хлопал себя руками по коленям и восклицал:

– Эге! Эге-ге!

Однако, чем ближе подъезжали они к Мокотову, тем больше вытягивалось его лицо. Он вдруг обернулся к Володыёвскому и сказал:

– Помнишь? Ты ведь дал слово чести, что Кетлинг Кетлингом, а все равно месяц с нами побудешь.

– От слова не отрекусь, – отвечал Володыёвский.

– А вот и Кетлингов двор, – сказал Заглоба, – и преотличный!

А после этого крикнул кучеру:

– А ну-ка, щелкни кнутом! Праздник сегодня в этом доме!

Раздался громкий свист кнута. Но возок не успел еще въехать в ворота, как с крыльца сбежали старые товарищи пана Михала; были среди них и давние знакомцы, еще со времен

---

<sup>22</sup> повторяю (лат.).

<sup>23</sup> награды (лат.).

<sup>24</sup> закрыть (лат.).

Хмельницкого, и совсем юные бойцы, и среди них пан Василевский и пан Нововойский, птенцы желторотые, но удалые вояки, из тех, что мальчишками, удрав из школы, вот уже несколько лет под началом Володыёвского проходили военную науку. Маленький рыцарь любил их безмерно.

Из стариков был пан Орлик, из рода Новина, тот самый, у которого на черепе сверкала заплата из золота – память об осколке шведской гранаты, и пан Рущиц, полудикий степной рыцарь, непревзойденный наездник во вражеский стан, одному Володыёвскому уступавший в своем искусстве, и еще кое-кто. Все они, увидев в экипаже двух мужей, принялись кричать:

– Здесь он, здесь! *Vicit*<sup>25</sup> Заглоба! Здесь!

Они бросились к возку, схватили маленького рыцаря и понесли на руках, повторяя:

– Здравствуй! Здравствуй, друг наш и товарищ милый! С нами ты теперь, и мы тебя не отпустим! *Vivat* Володыёвский, доблестный рыцарь, украшение всего войска! В степи, с нами, брат, в степи! В Дикое Поле! Там ветры тоску твою развеют!

И только на крыльце они выпустили его из рук. Володыёвский со всеми здоровался, несказанно обрадовавшись такой сердечности, и спросил только:

– А Кетлинг где? Жив ли?

– Жив! Жив! – слышались голоса. Старые вояки прятали в усы улыбку, скрывая что-то. – Ступай, ступай, не ложится ему, все тебя поджидает. Ступай скорей!

– Вижу, не так уж плохо дело, как пан Заглоба расписывал, – сказал маленький рыцарь.

Они вошли в сени, из сеней в покои. Посредине стоял стол с заранее приготовленным угощением, в углу – диван, накрытый белой конской шкурой, на нем-то и возлежал Кетлинг.

– Друг! – сказал пан Володыёвский, бросившись к нему.

– Михал! – воскликнул Кетлинг и, легко вскочив на ноги, схватил маленького рыцаря в объятия.

Обнимали они друг друга с большим пылом, то Кетлинг подбрасывал в воздух Володыёвского, то Володыёвский Кетлинга...

– Велено мне было больным прикинуться, – говорил шотландец, – сделать вид, что умираю, но увидел я тебя и не выдержал! Я здоровехонек, путешествовал без приключений. Вся хитрость в том была, чтобы тебя из монастыря выманить. Прости нас, Михал! Из любви к тебе придумали мы эту ловушку.

– С нами в Дикое Поле! – снова воскликнули рыцари и твердыми своими ладонями застучали по саблям, да так, что все вокруг дрогнуло.

Пан Михал оторопел. Поначалу не мог вымолвить ни слова, а потом поочередно обвел всех взглядом, остановив его на пане Заглобе.

– Злодеи, обманщики! – воскликнул он наконец. – Я-то думал, Кетлинг при смерти.

– Опомнись, Михал! – воскликнул Заглоба. – Ты сердисься, что Кетлинг жив и здоров? Жалеешь ему здоровья и смерти желаешь? Неужто сердце твое окаменело и ты хотел бы, чтобы мы все поскорей в прах превратились – и Кетлинг, и пан Орлик, и пан Рущиц, и эти вот юнцы, и Скшетуский, и я, я, который любит тебя как сына родного!

Тут Заглоба стал вытирать слезы и запричитал еще жалобнее:

– Стоит ли жить на свете, друзья, коли нигде благодарности не встретишь, одни бесчувственные, очерстевшие сердца.

– Помилуйте! – воскликнул Володыёвский. – Я вам зла не желаю, но обидно мне, что не сумели вы горя моего уважить.

– Видно, мы ему поперек дороги стали! – повторял пан Заглоба.

– Полно, сударь!

– Говорит, не уважили его печали, а ведь мы море слез над его горем пролили, все как одна душа! Правда! Бога беру в свидетели, что мы печаль твою саблями разметать готовы,

<sup>25</sup> Победил (лат.).

потому как ведомы нам законы истинной дружбы! Но коли слово дал с нами на месяц остаться, то хоть этот месяц люби нас еще, Михал.

– А я и до самой смерти любить вас не перестану! – отвечал Володыёвский.

Дальнейший разговор был прерван появлением нового гостя. Солдаты, окружившие пана Володыёвского, не слышали, как гость подъехал, и увидели его только теперь, в дверях. На пороге стоял человек огромного роста, мужественный, с прекрасной осанкой, с лицом римского цесаря. Было в этом лице и величие, и воистину монаршья доброта и благородство. Он возвышался среди других солдат, совсем на них не похожий, словно король птиц – высокопарящий орел среди ястребов, коршунов, балабанов...

– Пан великий гетман! – воскликнул Кетлинг и, как хозяин дома, кинулся к нему навстречу.

– Пан Собеский! – повторили следом и остальные.

Головы рыцарей склонились в почтительном поклоне.

Кроме Володыёвского, все знали о том, что великий гетман пожалует, он обещал это Кетлингу, и все же его приезд такое сильное произвел на всех действие, что долгое время никто не смел раскрыть рта. Великую милость оказал он всем своим приездом. Но пан Собеский больше всего на свете любил солдат, своею семьею их считая, особливо тех, с которыми столько раз вместе сметали с пути татарские чамбулы. Вот и на сей раз решил он приехать, утешить и обласкать Володыёвского, воздать ему при всех почести и тем самым незаметно вернуть обратно.

Поздоровавшись с Кетлингом, великий гетман тотчас же протянул маленькому рыцарю обе руки, а когда пан Михал припал к его коленям, обхватил его голову.

– Ну, старый солдат, – сказал он, – воля Божья пригнула тебя к земле, но она же поднимет и утешит. Бог тебя не оставит! Ты с нами...

Пана Михала душили рыдания.

– Я вас не покину! – сказал он сквозь слезы.

– Вот и хорошо, таких бы воинов побольше! А теперь, старый товарищ, давай вспомним те времена, когда мы в шатрах в степи вольной пировали. Славно мне с вами! А ну-ка покажи свою удаль, хозяин!

– *Vivat Joannes dux!*<sup>26</sup> – раздались громкие голоса.

И до самого утра гудело веселье.

На другой день пан гетман прислал Володыёвскому дорогой подарок – буланого жеребца благородной испанской породы.

---

<sup>26</sup> Да здравствует Иоанн, предводитель! (*лат.*)

## Глава VI

Кетлинг с Володыёвским поклялись друг другу, если только будет случай, стремя о стремя ездить, у одного костра греться, одно седло под головы подкладывать.

Но не прошло и недели со дня встречи, как случай их разлучил. Из Курляндии прибыл гонец с вестью, что Гасслинг, который молодого шотландца усыновил и своим наследником сделал, вдруг неожиданно заболел и желает видеть приемного сына. Рыцарь немедля верхом отправился в путь.

Перед отъездом он попросил пана Заглобу и Володыёвского лишь об одном: чтобы они не чинились, дом его считали своим и гостили, пока не наскучит.

– Может, и Скшетуские пожалуют, – говорил он. – К выборам сам он прибудет наверняка, да хоть бы и со всеми чадами, милости прошу ко мне. У меня родни нет, но вы мне как братья родные.

Особенно радовался приглашению пан Заглоба: привольно было ему у Кетлинга, но и Володыёвскому гостеприимство оказалось не лишним.

Скшетуские так и не приехали, но о своем прибытии сообщила сестра пана Володыёвского, та, что была замужем за паном Маковецким, стольником латычёвским. Она прислала на гетманский двор человека спросить, не видел ли кто маленького рыцаря. Ему тотчас указали на дом Кетлинга.

Володыёвский был рад этой вести; с тех пор как они виделись с сестрой, минули годы, и, узнав, что, не найдя иного пристанища, она остановилась в Рыбаках, в убогой лачуге, пан Михал тотчас же поспешил за ней – пригласить ее в Кетлинговы хоромы.

Уже стемнело, когда он вошел в дом, но, хотя в горнице были еще две женщины, он тотчас же узнал сестру: супруга стольника была маленькая, кругленькая, словно клубок пряжи.

И она его узнала тотчас. Они кинулись друг другу в объятия и долго не могли вымолвить ни слова. Она почувствовала, как по лицу ее текут его теплые слезы, и он ощутил тепло ее слез; а барышни все это время стояли неподвижно, прямехонькие, как две свечи, наблюдая за чужой радостью.

Наконец пани Маковецкая, первой обретя дар речи, громко заговорила тоненьким, пронзительным голоском:

– Столько лет! Столько лет! Помоги тебе Боже, любимый брат! Как только узнала я о твоём несчастье, не выдержала, сорвалась с места. И муж меня не удерживал, потому что от Буджака жди беды... Да и про белгородских татар ходят слухи. И, наверное, скоро на дорогах станет черным-черно – вот и сейчас птицы слетелись со всех сторон, а так всегда перед набегом бывает. Боже тебе помоги, любимый брат! Золотой мой! Единственный! Муж к выборам приедет и сказал так: «Забирай девок и езжай немедля. Михала, говорит, в час скорби обогреть, от татар, говорит, искать прибежище надо, того и гляди, пожар разгорится, словом, одно к одному. Подыщи жильё там попримичнее, чтоб было нам где остановиться». Он вместе с земляками на дорогах врагов караулит. Войска мало. У нас всегда так. Михал, брат мой любимый! Подойди-ка к окну, хочу я на тебя поглядеть. Вон ведь как с лица спал, да ведь горе не красит. Хорошо было мужу на Руси говорить: найди постоялый двор! А тут нигде ничего: мы сами в халупе. Еле три охапки соломы для постелей наскребли.

– Разреши, сестра!.. – вставил было маленький рыцарь.

Но сестра все не разрешала и тарахтела как мельница:

– Тут мы остановились, больше-то и места не было. Хозяева глядят волком. Кто знает, что за люди. Правда, и у нас четверо дворовых, ребята надежные, да и мы не из пугливых, в наших краях в груди у женщины сердце воина бьется, иначе не проживешь. У меня мушкетик

имеется, у Баськи два пистолета. Только Кшися оружия не любит... Но город чужой, я бы хотела найти место понадежней.

– Разреши, сестра... – повторил пан Михал.

– А ты где остановился, Михал? Помоги мне жилье подыскать, ты, чай, и в Варшаве как дома.

– Жилье для тебя готово, да такое, что и сенатора со всем двором пригласить не стыдно. Я остановился у моего друга, капитана Кетлинга, и сейчас тебя к нему отвезу.

– Но помни, нас трое, двое слуг и челядинцев четверо. Боже ты мой! Я тебя не представила.

И тотчас же повернулась к барышням:

– Сударыни знают, кто он, а он про вас нет, прошу вас, познакомьтесь, хотя бы в потемках. Даже печь до сих пор не истопили... Это панна Кристина Дрогоёвская, а это панна Барбара Езёрковская. Муж мой их опекун, а они сироты и живут с нами. Столь юным барышням без опеки жить негоже.

Пока пани Маковецкая говорила это, Володыёвский поклонился, как это делают военные, а обе панны, придерживая подол платьев, сделали реверанс, при этом панна Езёрковская тряхнула головой, как жеребенок.

– Едем, пожалуй! – сказал пан Михал. – Пан Заглоба дома остался, он об ужине хлопочет.

– Пан Заглоба? Тот самый знаменитый пан Заглоба? – воскликнула панна Езёрковская.

– Баська, тихо! – одернула ее тетушка. – Боюсь, хлопот с нами много!

– Уж коли пан Заглоба об ужине хлопочет, – отвечал маленький рыцарь, – еды на целый полк хватит. Велите, сударыни, выносить вещи. Я и о телеге позаботился, а шарабан у Кетлинга просторный, все четверо усядемся. И вот что еще – коли слуги не пьяницы, пусть до утра здесь с лошадьми да со всем скарбом остаются, а мы самое нужное прихватим.

– Нечего им оставаться, – сказала хозяйка, – телеги еще не разгружены, запряжем коней – и в дорогу. Баська, распорядись, мигом!

Панна Езёрковская помчалась в сени и скоро, быстрее, чем можно прочесть до конца «Отче наш», вернулась со словами, что все готово.

– Да и пора! – сказал пан Володыёвский.

Через минуту шарабан вез всю четверку в Мокотов. Пани Маковецкая с панной Дрогоёвской устроились на заднем сиденье, а маленький рыцарь сидел спереди, рядом с панной Езёрковской. Было уже темно, лиц он почти не различал.

– Вы, сударыни, бывали в Варшаве? – громко, чтобы заглушить стук колес, спросил он, наклоняясь к панне Дрогоёвской.

– Нет, – отвечала она. Голос у нее был низкий, но приятный и мелодичный. – Мы росли в глуши, ни больших городов, ни людей знатных не видывали.

Сказав это, она слегка склонила головку, как бы давая понять, что к последним относит и пана Володыёвского, чем изрядно ему польстила. «Политичная, однако, особа», – подумал пан Володыёвский, мучительно размышляя, каким бы комплиментом ответить.

– Будь этот город и в десять раз больше, вашей красоты ему не затмить, сударыни!

– А вы откуда знаете, сударь, чай, нас и не видно впотьмах? – неожиданно спросила панна Езёрковская.

«Вот зелье!» — подумал пан Володыёвский, но не ответил. Некоторое время они ехали молча, пока панна Езёрковская не обратилась к нему снова:

– Не знаете ли, сударь, довольно ли в конюшнях места, у вас лошадей десяток да еще два жеребеночка.

– Да хоть бы и тридцать, конюшня большая.

А барышня только свистнула в ответ:

– Фью-фью!

– Баська! – начала было свои увещевания тетушка.

– Ага! Баська! Баська! А лошади всю дорогу на ком?

За разговорами незаметно подъехали к усадьбе Кетлинга.

Все окна в честь приезда пани Маковецкой были освещены. Навстречу гостям выбежала прислуга, а впереди всех шествовал пан Заглоба, который, подскочив к экипажу и увидев в нем трех женщин, тотчас же спросил:

– Кто же из вас, сударыни, моя благодетельница и сестра Михала, лучшего моего друга?

– Я, – отвечала супруга стольника.

Заглоба тотчас же припал к ее ручке, повторяя:

– Кланяюсь, низко кланяюсь, благодетельница!

Потом он помог пани Маковецкой вылезти из шарабана и, расшаркиваясь, с большими почестями проводил в дом.

– Разрешите мне, как только переступим порог, еще раз поцеловать ваши ручки, – говорил он ей по дороге.

А тем временем пан Михал помог выбраться из экипажа паннам. Так как шарабан был высокий, а ступеньку в темноте нащупать трудно, он обнял за талию панну Дрогоёвскую, поднял ее и поставил на землю. Она не противилась этому, на мгновение прижавшись к нему всем телом.

– Благодарю вас, сударь! – сказала она своим низким, грудным голосом.

Пан Михал обернулся в свой черед к панне Езёрковской, но она соскочила с другой стороны, и он взял под руку панну Дрогоёвскую.

В комнате барышни представились пану Заглобе, который при виде их пришел в отличное настроение и тотчас пригласил всех к ужину.

Миски на столе уже дымились, еды и напитков, как и предсказывал пан Михал, было такое изобилие, что и впрямь хватило бы на целый полк.

Сели за стол. Пани Маковецкая – во главе стола, по правую руку – пан Заглоба, рядом с ним – панна Езёрковская, Володыёвский сел по левую руку, рядом с Дрогоёвской.

И тут только маленький рыцарь смог как следует приглядеться к обеим барышням.

Они были совсем не похожи, но обе прехорошенькие, каждая в своем роде. У Дрогоёвской волосы цвета воронова крыла, черные брови, большие голубые глаза. Кожа смуглая, бледная и такая нежная, что даже на висках просвечивали голубые жилки. Над верхней губой темнел едва заметный пушок, как бы подчеркивая притягательность томных ее уст, словно бы созданных для поцелуя. Она была в трауре по недавно умершему отцу, и темный наряд при такой нежной коже и черных волосах создавал впечатление некоторой суровости и грусти. На первый взгляд она казалась старше своей подруги, и, только приглядевшись, пан Михал понял, что это хрупкое создание в расцвете самой юной девичьей красоты. И чем больше он смотрел, тем больше дивился и величественности стана, и лебединой шее, и всем движениям ее, исполненным прелести и грации.

«Это повелительница, – думал он, – и душа у нее, должно быть, возвышенная. Зато вторая сущий бесенок!»

Подмечено было верно.

Езёрковская ростом была гораздо ниже Дрогоёвской и вообще мелковата, но не худая, свежая, как бутон розы, со светлыми волосами. Волосы у нее, должно быть после болезни, были коротко острижены и сверху покрыты золотистой сеткой. Но и они, словно угадывая Басину непоседливость, не желали вести себя спокойно, кончики их вылезали сквозь все петли сетки, свисая на лоб чуть ли не до самых бровей, на манер казацкого оселедца, быстрые, веселые глаза и плутовская мина делали ее похожей на мальчишку-проказника, который только и помышляет об очередной проделке.

При этом она была такая юная и приятная – глаз не отведешь: с изящным, чуть приподнятым кверху носиком, с подвижными, то и дело раздувавшимися ноздрями, с ямочками на подбородке и на щеках, приметой веселого нрава.

Но сейчас она не улыбалась, а, уплетая за обе щеки, с чисто детским любопытством поглядывала на пана Заглобу и на пана Володыёвского, будто на заморских птиц.

Пан Володыёвский молчал: он понимал, что должен занять разговором панну Дрогоёвскую, но не знал, как к ней подступиться. Маленький рыцарь и вообще-то не отличался светскостью, а сейчас на душе у него было тоскливо, девушки живо напомнили ему о покойной невесте.

Пан Заглоба, напротив, развлекал супругу стольника рассказами о подвигах пана Михала и о своих собственных. К середине ужина он как раз подошел к рассказу о том, как некогда они с княжной Курцевич и Редзяном сам-четверт удирали от татарского чамбула, а под конец, ради спасения княжны, чтобы остановить погоню, ринулись вдвоем на целый чамбул.

Панна Езёрковская даже есть перестала, подперев подбородок руками, она слушала затаив дыхание, то и дело откидывала со лба волосы, моргала, а в самых интересных местах хлопала в ладоши и повторяла:

– Ага! Ага! Сказывай, сказывай дальше, сударь!

Но когда рассказ пошел о том, как драгуны Кушеля, выскочив из засады, надели на татар и гнались за ними полмили, рубя направо и налево, панна Езёрковская, не в силах сдержать восторга хлопала в ладоши и закричала:

– Ахти, сударь, ахти! Вот бы и мне туда!

– Баська! – протянула тетушка с явным русинским акцентом. – Вокруг тебя такие политичные люди, отучайся от своих «ахти». Еще не хватало, чтобы ты крикнула: «Чтоб меня разорвало, коли вру!»

Барышня засмеялась молодым, звонким, как серебро, смехом, и вдруг хлопнула себя руками по коленкам.

– Чтоб меня разорвало, коли вру! – воскликнула она.

– О Боже! Слушать стыдно! В таком обществе... Сейчас же извинись перед всеми! – воскликнула пани Маковецкая.

А тем временем Баська, решив начать с пани Маковецкой, сорвалась с места, но при этом уронила на пол нож, ложку и сама нырнула следом под стол.

Тут уж кругленькая стольничиха не могла удержаться от смеха, а смеялась она по-особому: сперва начинала трястись, так что полное ее тело ходило ходуном, а потом пищала тоненьким голосом. Все развеселились. Заглоба был в восторге.

– Видите, сколько хлопот у меня с этой девицей!

– Чистая радость! Как Бог свят! – говорил Заглоба.

Тем временем Бася вылезла из-под стола, разыскала ложку и нож, но тут сетка у нее с головы слетела, непослушные волосы так и лезли на глаза. Она выпрямилась и, раздувая ноздри, сказала:

– Ага! Смеетесь над тем, что вышел такой конфуз. Хорошо же!

– Помилуйте, как можно! Никто не смеется! Никто не смеется! – с чувством сказал Заглоба. – Все мы счастливы, что в вашем образе Господь Бог ниспослал нам такую отраду.

После ужина все пошли в гостиную. Панна Дрогоёвская, увидев на стене лютню, сняла ее и стала перебирать струны. Володыёвский попросил ее спеть в тон струнам, она ответила сердечно и просто:

– Если это хоть немножко развеет ваше горе, я готова.

– Спасибо! – ответил маленький рыцарь и благодарно поднял на нее взгляд.

Послышались звуки песни.

Знай же, о рыцарь,  
Тебе не укрыться.  
Панцирь и щит не препона,  
Если стремится в сердце вонзиться  
Злая стрела Купидона<sup>27</sup>

– Я уж и не знаю, как вас благодарить, сударыня, – говорил Заглоба, сидя в сторонке с пани Маковецкой и целуя ей руки, – сама приехала и таких милых барышень привезла, что, поди, и грациям до них далеко. Особенно гайдучок пришелся мне по душе, эдакий бесенок, любую тоску лучше разгонит, чем горностаи мышей. Да и что такое людская печаль, коли не мыши, грызущие зерна веселья, хранимые в сердцах наших! А надо вам, сударыня-благодетельница, сказать, что прежний наш король Joannes Casimirus так мои *comparationes*<sup>28</sup> любил, что и дня без них обойтись не мог. Я ему всевозможные истории и премудрости сочинял, а он их на сон грядущий выслушивал, и нередко они ему в хитроумной его политике помогали. Но это уже другая материя. Я надеюсь, что и наш Михал, насладившись радостью, навсегда о своих горестях забудет. Вам, сударыня, и неведомо, что прошла лишь неделя с той поры, как я его из монастыря вытащил, где он обет давать собирался. Но я самого нунция подговорил, а он возьми и скажи приору, что всех монахов в драгуны пошлет, если Михала сей секунд не отпустят... Нечего ему там было делать. Слава, слава тебе, Господи! Уж я-то Михала знаю. Не одна, так другая скоро такие искры из его сердца высечет, что оно займется, как трут.

А тем временем панна Дрогоёвская пела;

Если героя  
Щит не укроет  
От острия рокового,

Где же укрыться  
Трепетной птице,  
Горлинке белоголовой.<sup>29</sup>

– Эти горлинки боятся купидоновых стрел, как собака сала, – шепнул пани Маковецкой Заглоба. – Но сознайся, благодетельница, не без тайного умысла ты этих пташек сюда привезла. Девки – загляденье! Особливо гайдучок, дал бы мне Бог столько здоровья, сколько ей красоты! Хитрая у Михала сестричка, верно?

Пани Маковецкая тотчас состроила хитрую мину, которая, впрочем, совсем не подходила к ее простому и добродушному лицу, и сказала:

– Нам, женщинам, обо всем подумать надо, без смекалки не проживешь. Муж мой на выборы короля собирается, а я барышень пораньше увезла, того и гляди, татарва нагрянет. Да кабы знать, что из этого будет толк и одна из них счастье Михалу составит, я бы паломницей к чудотворной иконе пошла.

– Будет толк! Будет! – сказал Заглоба.

– Обе девушки из хороших семей, обе с приданым, что в наши тяжкие времена не лишнее.

– Само собой, сударыня. Михалово состояние война съела, хоть, как мне известно, кое-какие деньжата у него водятся, он их знатным господам под расписку отдал. Бывали и у нас

---

<sup>27</sup> Перевод Ю. Вронского.

<sup>28</sup> сравнения (*лат.*).

<sup>29</sup> Перевод Ю. Вронского.

трофеи хоть куда, к пану гетману поступали, но часть на дележку шла, как говорят солдаты, «на саблю». И на его саблю немало перепало, если бы он все берег – богачом бы стал. Но солдат не думает про завтра, он сегодня гуляет. И Михал все на свете прогулял и спустил бы, кабы не я. Так ты говоришь, почтенная, барышни знатного происхождения?

– У Дрогоёвской сенаторы в роду. Наши окраинные каштеляны на краковских не похожи, есть среди них и такие, о коих в Речи Посполитой никто и не слыхивал, но тот, кому хоть раз довелось посидеть в каштелянском кресле, непременно передаст свою осанку и потомству. Ну, а если о родословной говорить, Езёрковская на первом месте.

– Извольте! Извольте! Я и сам из старинного королевского рода Масагетов, и потому страх как люблю про чужую родословную послушать.

– Так высоко эта пташка не залетала, но коли угодно... Мы чужую родню наперечет знаем... И Потоцкие, и Язловецкие, и Лащи – все ее родня. Вот как оно было, сударь...

Тетушка расправила фалды, уселась поудобнее, чтобы ничто не мешало ей предаться любимым воспоминаниям; растопырив пальцы одной руки и вытянув указательный палец другой, она приготовилась к счету всех дедов и прадедов, после чего начала;

– Дочка пана Якуба Потоцкого от второй его жены, в девичестве Язловецкой, Эльжбета, вышла замуж за пана Яна Смётанко, подольского хорунжего...

– Сделал зарубку! – сказал Заглоба.

– От этого брака родился пан Миколай Смётанко, тоже подольский хорунжий.

– Гм! Высокое звание!

– А тот в первом браке был женат на Дорогостайской... Нет! На Рожинской!.. Нет, на Вороничувне! Ах, чтоб тебя! Забыла!

– Вечная ей память, как бы ни называлась! – с серьезной миной сказал Заглоба.

– А во второй раз он женился на Лашувне...

– Вот оно, оно самое! И какой же этого брака effectus?<sup>30</sup>

– Сыновья у них умерли...

– Любая радость в этом мире недолговечна...

– А дочери... Младшая, Анна, вышла замуж за Езёрковского из рода Равичей, комиссара по размежеванью Подолья, который потом, дай Бог не соврать, мечником подольским был.

– Как же, помню! – уверенно сказал Заглоба.

– От этого брака, как видишь, сударь, и родилась Бася...

– Вижу еще и то, что сейчас она целится из Кетлинговой пищали.

Дрогоёвская и маленький рыцарь были увлечены беседой, а Баська тем временем утexas ради целилась из пищали в окно.

При виде этого зрелища пани Маковецкая всколыхнулась и затараторила тоненьким голосом:

– Ох, пан Заглоба, сколько у меня хлопот с этой девицей, ты и представить себе не можешь! Чистый гайдамак!

– Если бы все гайдамаки были такими, я бы давно с ними в степи ушел.

– Ружья, лошади да война у нее на уме! Как-то вырвалась из дому на утиную охоту, с дробовиком. Забралась в камыши, тут, глядь, камыши расступились, и что же? Татарин высунул башку, он камышами в деревню крался. Другая бы напугалась, а наша, отчаянная, возьми да и пальни из дробовика. Татарин – хлоп в воду! И представь себе, сударь, на месте его уложила... И чем – зарядом дробин...

Тут пани Маковецкая снова затряслась всем телом, хохоча над злополучным татаринoм, а потом добавила:

<sup>30</sup> результат (лат.).

– И то сказать, спасла нас всех, целый отряд шел, а она вернулась, подняла шум, и мы с челядью успели в лесу укрыться. У нас так всегда!

Лицо Заглобы расплылось от восхищения, он даже прищурил глаз, потом сорвался с места, подскочил к барышне и, не успевшая она опомниться, чмокнул ее в лоб.

– От старого солдата за татарина в камышах! – сказал он.

Барышня тряхнула светлыми вихрами.

– Всыпала я ему! Верно? – воскликнула она таким нежным, почти детским голоском, что казалось странным слышать из ее уст столь воинственные речи.

– Ах, гайдучок ты мой бесценный! – расчувствовался Заглоба.

– Подумаешь, один татарин! У вас, поди, тысячи на счету – и шведы, и немцы, и венгры Ракоци. Куда мне до вас! Других таких рыцарей во всей Речи Посполитой нет. Это я доподлинно знаю. Ого!

– А мы, коли есть охота, и тебя научим сабелькой махать. Я-то отяжелел малость, но Михал хоть куда.

Услышав такое предложение, Бася подпрыгнула от восторга, поцеловала пана Заглобу в плечо, а маленькому рыцарю сделала реверанс и сказала:

– Благодарю за обещание! Немного я уже умею!

Но Володыёвский, занятый беседой с Кшисей, ответил весьма рассеянно:

– К вашим услугам, сударыня!

Заглоба, расплываясь в улыбке, снова подсел к супруге латычёвского стольника:

– Пани благодетельница, я отлично знаю, что турецкие сладости отменные, не один год мне в Стамбуле просидеть пришлось, но знаю не хуже, что и охотников на них тьма. Как же случилось, что на таких отменных девок до сих пор охотников не нашлось?

– Помилуй! Таких, что им руку и сердце предлагали, хватало. А Баську мы в шутку трижды вдовой называем, потому что к ней сразу три достойных кавалера сватались: пан Свирский, пан Кондрацкий и пан Чвилиховский, все шляхтичи из наших мест, с поместьями, коли хочешь, я и сейчас могу всю их родню по пальцам перечесть.

Сказавши это, пани Маковецкая растопырила пальцы левой руки и выставила указательный палец правой, но Заглоба быстренько перебил ее:

– Ну и что же с ними случилось?

– Все трое на войне головы сложили, потому-то мы Баську и называем трижды вдовой!

– Гм! Ну и как же она перенесла такой удар?

– Видишь ли, сударь, для нас это дело привычное, в наших краях редко кто, до преклонных лет дожив, своей смертью умирает. Даже и присловье у нас есть – шляхтич умирает в поле. Как Баська удар перенесла? Поплакала, бедняжка, малость, отсиделась на конюшне, она, чуть случится что, тотчас на конюшню бежит! Пошла я туда за нею и спрашиваю: «Кого оплакиваешь, Бася?» А она в ответ: «Всю троицу сразу!» Отсюда я заключение сделала, что ни один ей не приглянулся... Потому, должно быть, что голова у нее чем-то другим занята, не снизошла еще на нее Божья воля... Может, на Кшисю, а на Баську, пожалуй, нет!..

– Снизойдет! – сказал Заглоба. – Снизойдет, почтеннейшая... Уж кто-кто, а мы с вами это понимаем...

– Таково уж наше предназначенье!

– Вот-вот! В этом вся соль! – отозвался Заглоба. – Вы мои мысли читаете.

Разговор был прерван появлением молодых людей.

Маленький рыцарь чувствовал себя в обществе панны Кшиси несколько смелее, а она, должно быть из сострадания, врачевала его печаль, словно лекарь больного. И может быть, именно поэтому оказывала ему чуть больше сердечности, чем позволяло недавнее знакомство. Но пан Михал был братом пани Маковецкой, а барышня – родственницей ее мужа, и потому такая вольность никого не удивляла. Баська оставалась в тени, и никто, кроме пана Заглобы,

не замечал ее присутствия. Но Бася и не нуждалась ни в ком. Весь вечер она с удивлением глядела на рыцарей точь-в-точь как на великолепное оружие Кетлинга, украшавшее все стены. Потом ее одолела зевота, да и глаза слипались.

– Ка-ак залягу, – сказала она, – двое суток просплю... не меньше...

После таких слов все сразу разошлись, женщины были измучены дорогой и ждали той минуты, когда наконец постелят постели.

Пан Заглоба, оставшись с глазу на глаз с Володыёвским, сначала многозначительно подмигнул ему, а потом слегка оттузил на радостях.

– Михал! А Михал! Ну что? В монахи пойдешь али передумал? Девки, как репки. Дрогоёвская – ягодка-малинка. А гайдучок наш румяный, ух! Что скажешь, а, Михал?

– Да полно, – отвечал маленький рыцарь.

– По мне, так лучше гайдучка не найти. Скажу тебе, когда я за ужином к ней подсел, жар от нее шел, как от печурки.

– Егоза она, Дрогоёвская степенней будет.

– Панна Кшися – сладкое яблочко. Спелое, румяное! Но та... Твердый орешек. Были бы у меня зубы... Я хотел сказать, была бы у меня такая дочка, тебе одному бы ее отдал. Миндаль! Миндаль в сахаре.

Володыёвский вдруг нахмурился. Вспомнились ему прозвища, которые пан Заглоба Анусе Борзобогатой давал. Он представил ее как живую – тонкий стан, веселое личико, темные косы, ее живость и веселый смех, особый, только ей свойственный взгляд. Эти обе были моложе, но та в тысячу раз дороже любой молодой...

Маленький рыцарь спрятал лицо в ладони, его охватила печаль нежданная и оттого такая горькая.

Заглоба умолк, поглядел с тревогой и наконец сказал:

– Михал, что с тобой? Скажи Бога ради!

– Столько их, молодых, красивых, на белом свете, – отвечал Володыёвский, – живут, дышат, и только моей овечки нет среди них, одну ее никогда я больше не увижу!..

Тут горло у него перехватило, он опустил голову на край стола и, стиснув зубы, тихо прошептал:

– Боже! Боже! Боже!..

## Глава VII

Панна Бася все же упростила Володыёвского, чтоб он научил ее правилам поединка, а он и не отказывался, потому что хоть и отдавал предпочтение Дрогоёвской, но за эти дни успел привязаться к Басе, а, впрочем, трудно было бы ее не любить.

И вот как-то утром, наслушавшись Басиных хвастливых уверений, что она вполне владеет саблей и не всякий сумеет отразить ее удары, Володыёвский начал первый урок.

– Меня старые солдаты учили, – хвасталась Бася, – а они-то умеют на саблях драться... Еще неизвестно, найдутся ли среди вас такие.

– Помилуй, душа моя, – воскликнул Заглоба, – да таких, как мы, в целом свете не сыщешь!

– А мне хотелось бы доказать, что и я не хуже. Не надеюсь, но хотела бы!

– Стрелять из мушкетона, пожалуй, и я сумела бы, – сказала со смехом пани Маковецкая.

– О Боже! – воскликнул пан Заглоба. – Сдается мне, в Латычёве одни амазонки обитают!

Тут он обратился к Дрогоёвской:

– А ты, сударыня, каким оружием лучше владеешь?

– Никаким, – отвечала Кшися.

– Ага! Никаким! – воскликнула Баська.

И, передразнивая Кшисю, запела:

Если стремится в сердце вонзиться  
Злая стрела Купидона.

– Этим-то оружием она владеет недурно, будьте спокойны! – добавила Бася, обращаясь к Володыёвскому и Заглобе. – И стреляет недурно.

– Выходи, сударыня! – сказал пан Михал, стараясь скрыть легкое замешательство.

– Ох, Боже! Если бы все получилось, как я хочу! – воскликнула Бася, зардевшись от радости.

И тотчас же стала в позицию: в правой руке она держала легкую польскую сабельку, левую спрятала за спину, наклонилась вперед, высоко подняла голову, ноздри у нее раздувались, и была она при этом такая румяная и хорошенькая, что Заглоба шепнул пани Маковецкой:

– Ни одна сулейка, даже со столетним венгерским, так бы не потешила мою душу!

– Гляди, сударыня, – говорил меж тем Володыёвский, – я не нападаю, а защищаюсь. А ты нападай сколько душе угодно.

– Ладно. А коли устанешь, проси, сударь, пардону.

– Я и так могу все мигом кончить, коли захочу.

– Неужто?

– У такого вояки, как ты, сударыня, выбить из рук сабельку проще простого.

– Это мы увидим.

– Не увидим, я политес соблюдаю!

– Никакого политеса не надобно. Попробуй выбить, коли сумеешь. Сноровки у меня маловато, но до этого не допущу.

– Стало быть, разрешаешь?

– Разрешаю!

– Опомнись, гайдучок ты мой милый, – сказал Заглоба. – Он не с такими, как ты, разделялся.

– Увидим! – повторила Баська.

– Начнем! – скомандовал Володыёвский, которому Басино хвастовство надоело.

Начали.

Бася, приседая, как кузнечик, лихо сделала выпад.

Володыёвский, не трогаясь с места, по своему обыкновению, едва заметно двинул саблей, словно бы никакой атаки и не было.

– Ты, сударь, отбиваешься от меня, как от мухи! – воскликнула недовольная Баська.

– А я с тобой и не дерусь вовсе, а учу! Вот так хорошо! Для горлинки совсем неплохо! Тверже руку!

– Ах, для горлинки? Так вот вам, сударь, за горлинку, получайте!

Но пан Михал ничего не получил, хотя Бася и прибегла к своим знаменитым приемам. И при этом, желая показать, как мало беспокоят его Басины удары, он как ни в чем не бывало продолжал беседу с паном Заглобой.

– Отойди, сударь, от окна, – сказал он Заглобе, – а то свет барышне застишь, правда, сабелька у нее чуть поболее иглы, но, должно быть, иголкой она владеет лучше.

Бася раздула ноздри еще больше, а волосы лезли на глаза.

– Пренебрегаешь мной, сударь?

– Боже упаси, только не твоею персоной.

– А я, я... пана Михала презираю!

– Вот тебе, бакалавр, за науку! – отвечал маленький рыцарь. И снова обратился к Заглобе: – Не иначе снег пойдет!

– Вот вам снег, снег, снег! – повторяла, размахивая сабелькой, Бася.

– Баська! Довольно с тебя, еле дышишь! – вмешалась тетушка.

– Держи, сударыня, сабельку покрепче, а то из рук выбью!

– Увидим!

– Изволь!

И сабелька, словно птица, вырвавшись из Басиных рук, с грохотом упала на пол возле печки.

– Это я... я сама, нечаянно! – со слезами в голосе воскликнула Бася и, схватив в руки саблю, снова перешла в атаку. – Попробуйте теперь, сударь!

– Изволь!

И сабля опять очутилась под печкой.

А пан Михал сказал:

– На сегодня хватит!

Тетушка, по своему обыкновению, затряслась всем телом от хохота, а Бася стояла посреди комнаты смущенная, растерянная, она тяжело дышала и кусала губы, едва сдерживая подступившие слезы. Она знала, что, если расплачется, все будут смеяться еще больше, и изо всех сил старалась сдержаться, но, чувствуя, что не может, выбежала прочь.

– О Боже! – воскликнула тетушка. – Не иначе в конюшню кинулась, еще и не остыла после драки, того гляди, мороз прохватит... Нужно догнать ее! Кшися, не смей выходить!

Сказав это, она вышла и, схватив висевшую в сенях шубейку, выскочила во двор, а за ней помчался и Заглоба, от души жалеющий своего гайдучка.

Хотела было выбежать и панна Кшися, но маленький рыцарь схватил ее за руку.

– Слышала, сударыня, приказ? Не отпущу твоей руки, пока не вернутся.

И в самом деле не отпускал. А рука у нее была нежная, бархатистая, и пану Михалу казалось, что ручеек тепла струится от ее пальцев, передаваясь ему, и он сжимал их все крепче.

На смуглых щеках панны Кшиси выступил легкий румянец.

– Вижу, я ваша пленница, ваш ясырь, – сказала она.

– Тот, у кого такой ясырь, и султану не станет завидовать, полцарства отдаст, не пожалеет.

– Но ведь вы, сударь, меня бы этим нехристям не продали!

– Как не продал бы черту свою душу!

Тут пан Михал вдруг понял, что в пылу зашел слишком далеко.

– Как не продал бы и сестру родную! – добавил он.

А панна Кшися отвечала серьезно:

– В самую точку попали, сударь. Пани Маковецкая для меня как сестра, а вы названным братом будете.

– Благодарю от всего сердца, – сказал Михал, целуя ей руку, – больше всего на свете нуждаюсь я в утешении.

– Знаю, знаю, – сказала девушка, – я ведь и сама сирота.

Слезинка скатилась по ее щеке, укрывшись в темном пушке над губою.

А Володыёвский посмотрел на слезинку, на оттененные пушкой губы и наконец сказал:

– Право, сударыня, вы добры, как ангел! Мне уже легче!

Кшися нежно улыбнулась.

– От души желаю пану, чтобы и вправду так было!

– Богом клянусь!

При этом маленький рыцарь чувствовал, что, если бы он посмел еще раз поцеловать Кшисе руку, ему и вовсе легко бы стало. Но тут вошла тетушка.

– Баська шубейку взяла, – сказала она, – но сконфужена и возвращаться не хочет. Пан Заглоба по конюшне мечется, никак ее не словит.

А пан Заглоба не только, не скупясь на уговоры и увещевания, метался по конюшне, лоя Басю, но и оттеснил ее наконец во двор в надежде, что так она скорее домой вернется.

А она удирала от него, повторяя:

– Вот и не пойду, не пойду ни за что, пусть меня мороз заморозит! Не пойду, не пойду!.. – Потом, увидев возле дома столб с перекладинами, а на нем лестницу, ловко, словно белочка, стала взбираться по ней, пока не залезла на крышу. Залезла, повернулась к пану Заглобе и уже полушутя закричала: – Хорошо, так и быть, сейчас спущусь, если вы, сударь, за мной полезете!

– Да что я, кот, что ли, какой, чтобы за тобой, гайдучок, по крышам лазить? Так-то ты мне за любовь платишь!

– И я вас, сударь, люблю, но только отсюда, с крыши!

– Ну вот, заладила! Стрижено-брито! Слезай с крыши!

– Не слезу!

– Оконфузилась! Эка беда! Стоит ли принимать это близко к сердцу. Не тебе, ласочка неугомонная, а Кмицицу, искуснику из искусников, Володыёвский такой удар нанес, и не в шутку, а в поединке. Да он самых лучших фехтовальщиков – итальянцев, немцев, шведов – протыкал вмиг, они и помолиться не успевали, а тут эдакая козьявка, и на тебе, столько гонору! Фу! Стыдись! Слазь, говорю! Ведь ты только учишься!

– Я пана Михала видеть не хочу!

– Опомнись, голубчик! За какие такие грехи, за то, что он exquisitissimus<sup>31</sup> в том, чему ты сама научиться хочешь? За это ты должна его любить еще больше.

Пан Заглоба не ошибался. Несмотря на случившийся с ней конфуз, Бася в душе восхищалась маленьким рыцарем.

– Пусть его Кшися любит! – сказала она.

– Слазь, говорю!

– Не слезу!

– Хорошо, сиди, но только вот что я тебе скажу: это даже и не пристало порядочной девице сидеть на лестнице, не очень-то прилично это выглядит снизу!

– А вот и неправда! – сказала Бася, одергивая шубейку.

– Я-то старый, глаз не прогляжу, да вот возьму и созову всех, пусть любятся!

---

<sup>31</sup> отменный (лат.).

– Сейчас слезу! – отозвалась Бася.

Пан Заглоба глянул за угол.

– Ей-богу, кто-то идет! – крикнул он.

В это время из-за угла выглянул молодой пан Нововейский, который приехал верхом, привязал лошадь к боковой калитке, а сам, ища парадного входа, обошел дом кругом.

Бася, заметив его, в два прыжка очутилась на земле, но, увы, было слишком поздно.

Пан Нововейский, увидев, как она спрыгивает с лестницы, остановился в растерянности, заливаясь румянцем, будто красна девица. Бася тоже стояла как вкопанная. И вдруг воскликнула:

– Опять конфуз!

Пан Заглоба, которого история эта очень позабавила, смотрел на них, подмигивая здоровым глазом, а потом сказал:

– Это пан Нововейский, солдат и друг нашего Михала, а это панна Чердаковская... Тьфу ты, господи!.. Я хотел сказать – Езёрковская!

Нововейский быстро пришел в себя, а поскольку при всей своей молодости был весьма находчив, поклонился и, бросив взгляд на столь прекрасное видение, сказал:

– О Боже! Я вижу, у Кетлинга в саду розы на снегу расцвели.

Бася, сделав реверанс, чуть слышно шепнула:

– Не про твою честь!

А после этого добавила громко вежливым голосом:

– Милости просим в дом!

Сама прошла вперед и, вбежав в столовую, где сидел за столом пан Михал с домочадцами, воскликнула, намекая на красный кунтуш пана Нововейского:

– Снегирь прилетел!

И, сказав это, она уселась на табуретку эдакой паинькой, тихохонько, смиренхонько, как и следовало воспитанной барышне.

Пан Михал представил своего молодого приятеля сестре и Кхисе Дрогоёвской, а тот, увидев еще одну барышню, тоже весьма хорошенькую, хотя и совсем в ином роде, опять смутился и, стараясь скрыть это, поднес руку к еще не существующим усам.

Подкручивая над губой мнимый ус, он обратился к Володыёвскому и начал рассказ. Великий гетман непременно желает видеть у себя пана Михала. Насколько пан Нововейский мог понять, речь шла о новом назначении. Гетман получил несколько донесений: от пана Вильчковского, от пана Сильницкого, от полковника Пиво и от других комендантов, служивших на Украине и в Подолии. Они писали, что в Крыму опять смута.

– Хан и султан Калга, что в Подгайцах с нами пакт заключил, рады бы сдержать слово, но Буджак людей своих поднимает да белгородская орда зашевелилась; ни хан, ни Калга им не указ...

– Пан Собеский мне об этом доверительно говорил, совета спрашивал, – сказал Заглоба. – Чего там по весне ждут?

– Говорят, с первой травой вся эта саранча оживет и ее снова давить придется, – отвечал пан Нововейский.

Сказав это, он лихо приосанился и так рьяно стал теревить «ус», что верхняя губа у него покраснела.

Бася мгновенно это заметила и, спрятавшись за его спину, тоже стала подкручивать «усы», подражая движениям юного вояки.

Пани Маковецкая бросала на нее грозные взгляды, но при этом тряслась от беззвучного смеха, пан Михал тоже закусил губу, а панна Дрогоёвская потупила взгляд, и ее длинные ресницы отбрасывали на щеки тень.

– Да ты, как погляжу, хоть и молод, но солдат бывалый! – сказал ему пан Заглоба.

– Мне двадцать два года стукнуло, а из них вот уже семь лет я безотказно служу отчизне, потому как в пятнадцать бежал от ученья, всем наукам предпочтя поле брани, – отвечал юный рубака.

– Он в степи как дома – и в траве спрячется, и на ордынцев налетит, как ястреб на куропатку, – добавил пан Володыёвский. – Лучшего наездника для степных набегов не придумать! От него ни одному татарину не укрыться!

Пан Нововейский вспыхнул, услышав столь лестные слова, сказанные в присутствии дам.

Этот степной орел был красивым юношей со смуглым обветренным лицом. На щеке у него был шрам от уха до самого носа, который из-за этого с одного боку казался приплюснутым. Глаза, привыкшие смотреть в степные дали, глядели зорко, а широкие черные брови над ними напоминали татарский лук. На бритой голове торчал непослушный чуб. Басе вояка понравился и речами, и осанкой, но она продолжала его передразнивать.

– Рад, рад от души, – сказал пан Заглоба. – Нам, старикам, весьма приятно видеть, что молодежь нас достойна.

– Пока нет, – возразил Нововейский.

– Ну что ж, такая скромность тоже похвальна, – сказал пан Заглоба. – Глядишь, скоро тебе и людей дадут под начало.

– А как же! – воскликнул Володыёвский. – Он уже не раз верховодил в сражениях.

Пан Нововейский снова принялся крутить «усы», да так, что казалось, вот-вот оторвет губу.

Бася, не сводя с него глаз, поднесла ко рту руки, повторяя все его жесты.

Но смекалистый солдат заметил вскоре, что взгляды всей компании устремлены на сидящую за его спиной барышню, ту, что при нем спрыгнула с лестницы, и он тотчас догадался, что девица над ним потешается.

Как ни в чем не бывало Нововейский продолжал разговор, не забывая и про «усы», но вдруг неожиданно обернулся, да так быстро, что Бася не успела ни опустить рук, ни отвести от него взгляда.

Она покраснела от неожиданности и, сама не зная, что делает, встала со скамейки. Все смутились, наступило неловкое молчание.

Вдруг Бася хлопнула рукой по платью.

– Опять конфуз! – воскликнула она.

– Милостивая сударыня, – с чувством сказал пан Нововейский, – я уже давно заметил, что за моею спиной кто-то надо мной посмеяться готов. Признаться, я давно об усах мечтаю, но коли я их не дождусь, то лишь оттого, что суждено мне пасть на поле брани за отчизну, и питаю надежду, что тогда не смеха, а слез твоих удостоюсь.

Бася стояла, потупив взгляд, смущенная искренними словами рыцаря.

– Ты, сударь, должен ее простить, – сказал Заглоба. – Молодо-зелено, но сердце у нее золотое!

А она, словно в подтверждение слов папа Заглобы, тихонько прошептала:

– Простите... Я не хотела обидеть...

Пан Нововейский мгновенно взял обе ее руки в свои и осыпал их поцелуями.

– Бога ради! Успокойтесь, умоляю. Я же не *barbarus*<sup>32</sup> какой. Это мне следует просить прощения за то, что веселье вам испортил, И мы, солдаты, страх как всякие развлечения любим. *Mea culpa*<sup>33</sup>. Дайте еще раз поцеловать ваши ручки, полно, не прощайте меня подольше, я и до ночи целовать их готов.

– Вот это кавалер, видишь, Бася! – сказала пани Маковецкая.

---

<sup>32</sup> варвар (лат.).

<sup>33</sup> Моя вина (лат.).

– Вижу! – ответила Бася.

– Стало быть, вы меня простили, – воскликнул пан Нововойский.

Сказав это, он выпрямился и начал по привычке молодцевато подкручивать «ус», а потом, спохватившись, разразился громким смехом; вслед за ним засмеялась Бася, за нею и остальные. У всех отлегло от сердца. Заглоба велел принести из погреба пару бутылок, и пошло веселье.

Пан Нововойский бряцал шпорами и ерошил свой чуб, бросая на Басю пламенные взгляды. Девушка ему очень нравилась. Он сделался необыкновенно словоохотлив, а побывав при гетманском дворе, повидал немало и многое мог рассказать.

Вспомнил он и о конвокационном сейме, о том, как в сенатской палате под натиском любопытных всем на потеху обвалилась печь... Уехал он лишь после обеда. Помыслы его были только о Басе. Она все стояла у него перед глазами.

## Глава VIII

В тот же день маленький рыцарь явился к гетману, который велел его тотчас пустить и повел такой разговор:

– Я Рущица посылаю в Крым, дабы приглядывал, не грозят ли нам оттуда какие напасти, да от хана соблюдения пактов добивался. Не хочешь ли пойти на службу и его солдат под свое начало взять? Ты, Вильчковский, Сильницкий и Пиво будете Дороша и татар караулить, с ними держи ухо востро.

Пан Володыёвский приуныл. Цвет жизни своей, лучшие годы отдал он войску. Десятки лет не знал покоя: жил в огне, в дыму, в трудах и бессоннице, в голоде, холоде, порой и крыши над головой у него не было и охапки соломы для постели. Один Бог ведает, чьей только крови ни пролила его сабля. Не сумел он обзавестись ни семьей, ни домом. Люди куда менее достойные уже давно пользовались *panem bene merentium*<sup>34</sup>, званий, почестей, должностей добились. А он, начиная службу, был богаче, чем стал. И вот опять о нем вспомнили, как о старой метле. Велика была боль его души; а едва нашлись мягкие, нежные ручки, готовые положить ему повязки на раны, снова приказано сниматься с места и спешить на пустынные далекие окраины Речи Посполитой, и никто не думает о том, как он нуждается в утешении. Ведь если бы не эти вечные походы и служба, хоть несколько лет порадовался бы он своей Анусе.

И когда он сейчас обо всем этом размышлял, горькая обида подступила к сердцу. Но только подумал он, что не пристало рыцарю от службы отказываться, и сказал коротко:

– Еду.

На это гетман ответил:

– Ты человек свободный и отказаться волен. Готов ли ты ехать, одному тебе ведомо.

– Я и к смерти готов! – ответил Володыёвский.

Пан Собеский в задумчивости мерил шагами покои, наконец остановился возле маленького рыцаря и, положив ему руку на плечо, сказал:

– Коли не успели высохнуть твои слезы, ветер их тебе в степи осушит. Всю жизнь провел ты в великих трудах, солдатик, потрудись еще. А если когда и подумаешь ненароком, что про тебя забыли, наградами обошли, отдохнуть не дали, что за верную свою службу вместо гренок с маслом получил ты черствую корку, раны вместо имений, муку вместо покоя, стисни зубы и шепни про себя: «Ради тебя, отчизна!» Другого утешения у меня нет, но, хотя я и не ксендз, но одно знаю наверняка, что, служа верой и правдой, ты на своем вытертом седле уедешь дальше, чем иные в богатой карете с шестеркой, и что найдутся такие ворота, что, открывшись перед тобой, затворятся перед ними.

«Ради тебя, отчизна!» – мысленно повторил Володыёвский, удивляясь невольно, как сумел гетман проникнуть в самые тайные его мысли.

А великий гетман сел напротив и продолжал:

– Говорю я с тобою сейчас не как с подчиненным, а как с другом, нет, как отец с сыном. Еще в те времена, когда нас у Подгаец огненным дождем поливали, да и до того, на Украине, когда мы едва-едва неприятеля сдерживали, а тут, в самом сердце отчизны, в укрытии, за нашей спиной, скверные людишки смуту сеяли мелкой корысти ради, – не раз думал я о том, что наша Речь Посполитая погибнуть должна. Уж слишком самоуправство привыкло брать верх над порядком, а общее благо выгоде и интригам уступать привыкло... Нигде не встречал я такого... Эти мысли грызли меня и днем в поле, и ночью в шатре, хотя старался я не показывать вида. «Ну ладно, – думал, – мы солдаты, тянем свою лямку... Таков наш долг, такова судьба наша! Но если бы мы хоть надеяться могли, что кровь наша оросит поля для благодат-

---

<sup>34</sup> Зд.: именными, которые давались за заслуги (*лат.*).

ных ростков свободы. Нет! И этой надежды не оставалось. Тяжкие думы владели мною, когда мы стояли возле Подгаец, только я себя не выдавал, чтобы не подумали вы, будто гетман на поле боя викторию под сомнение ставит. «Нет у тебя людей, – думал я, – нет людей, беззаветно любящих отечество!» И до того мне было тяжело, словно кто нож в сердце поворачивал. Помнится, было это в последний день, у Подгаец, в окопе, когда я повел вас в атаку на орду, две тысячи супротив двадцати шести, а вы все на верную смерть, на погибель свою мчались, да так весело, с посвистом, словно на свадьбу... И подумал я тогда: «А эти мои солдатики?» И Бог в одно мгновение снял камень с души, с глаз пелена спала. «Вот они, – сказал я себе, – во имя бескорыстной любви к родной своей матери гибнут; они не вступят ни в какие союзы, не пойдут на измену; из них-то и составит мое святое братство, школа, пример для подражания. Их подвиг, их товарищество нам поможет, с их помощью бедный наш народ возродится корысти и своеволия чуждый, встанет, словно лев, всему миру на удивление, великую в себе силу почуяв. Вот какое это будет братство!»

Тут пан Собеский оживился, откинул назад свою величественную, словно у римского цесаря, голову, протянул вперед руки и провозгласил:

– Боже! Не пиши на наших стенах мане, текел, фарес<sup>35</sup>, позволь мне возродить отечество! Наступило молчание.

Маленький рыцарь сидел потупясь и чуял, как дрожь пробегает по его телу.

А гетман, все меривший покои шагами, наконец остановился перед ним.

– Примеры надобны, – говорил он, – каждый день надобны примеры, да такие, чтобы зажигали сердца, Володыёвский! Ты для меня в первых рядах этого братства. Хочешь ли породниться с нами?

Маленький рыцарь вскочил и обнял гетману колени.

– Вот! – воскликнул он с волнением. – Вот что я скажу! Услышав, что снова мне ехать нужно, почувал я обиду, полагая, что время мое отныне принадлежит скорби, а теперь вижу, что грешен, каюсь и говорить не могу от стыда...

Гетман молча прижал его к сердцу.

– Горсточка нас, – сказал он, – но другие пойдут вслед за нами.

– Когда ехать надобно? – спросил маленький рыцарь. – Я могу и до самого Крыма добратся, мне не впервой.

– Нет, – сказал гетман. – В Крым я Рущица пошлю. У него там побратимы да и тезки найдутся, вроде и братья двоюродные, их еще в детстве орда угнала, а потом они в басурманскую веру перешли, прославились и в больших чинах ныне. Они ему послужат верой и правдой, а ты здесь в степях пригодишься, другого такого наездника во вражеский стан не найти.

– Когда ехать прикажете? – повторил маленький рыцарь.

– Полагаю, недели через две, не позднее. Нужно мне еще с паном коронным подканцлером да с паном подскарбием побеседовать, письма да указы Рущицу приготовить. Но смотри, будь наготове, не мешкай.

– К утру готов буду!

– Бог вознаградит тебя за усердие, да только дело не столь спешное. Поедешь ненадолго; ежели только война не начнется, на время избрания и коронации ты мне в Варшаве нужен будешь. Какие слухи ходят о претендентах? О чем поговаривает шляхта?

– Я из монастыря недавно вышел, а там, вестимо, о мирских делах не помышляют. Знаю лишь то, о чем мне пан Заглоба поведал.

– Верно. Стоит расспросить и его. Почтенный муж, шляхта его ценит. А твои помыслы о ком?

– Пока не ведаю, но полагаю, доблестный муж нам нужен, вояка отменный.

<sup>35</sup> Мане, текел, фарес – подсчитано, взвешено, измерено (Дан. 5, 25—28).

– О, да, да! Вот и я думаю о таком, чтобы одно имя его соседей как гром поражало. О доблестном муже, о таком, как Стефан Баторий. Ну, будь здоров, солдатик!.. Доблестный воин нам нужен! Всем свои слова повторяй! Будь здоров!.. Бог тебя за твое усердие не забудет!

Пан Михал простился и вышел. Всю дорогу он провел в размышлениях. Наш солдат радовался тому, что впереди у него еще неделя-другая, сердце его тешили доброта и участие, что дарила ему Кшися Дрогоёвская. Радовался он и тому, что при избрании короля присутствовать будет, словом, возвращался он домой веселый, позабыв о прежних печалях... Да и сами степи имели для него свое очарование, и он, того не ведая, по ним тосковал. Так привык он к этим просторам без конца и края, где всадник на коне парит над землей подобно птице.

– Ну что же, – говорил он себе, – поеду, поеду в эти бескрайние поля и степи, к давним заставам и старым могилам, старой жизни заново изведу, буду с солдатами в походы ходить, рубежи наши вместе с журавлями охранять, весной силы вместе с травами набирать, поеду, поеду!

Он прищпорил коня и помчался во всю прыть, потому что давно уже соскучился по быстрой езде и свисту ветра в ушах. День выдался сухой и ясный. Смерзшийся снег покрыл землю и скрипел под копытами скакуна. Комья обледенелой земли разлетались во все стороны. Пан Володыёвский мчал так, что челядинец, у которого конь был поплоше, остался далеко позади.

День клонился к вечеру, на небе светились зори, бросая фиолетовый отблеск на заснеженные поля. На румянном небе показались первые мерцающие звезды и поднялся месяц – серебряный серп. Пусто было на дороге, и лишь иногда обгонял рыцарь какую-нибудь колымагу и мчался дальше и, только увидев вдали двор Кетлинга, попридержал коня и дал слуге себя догнать.

Неожиданно вдали показалась стройная женская фигурка.

Навстречу рыцарю шла Кшися Дрогоёвская.

Пан Михал тотчас же соскочил с коня и передал его слуге, а сам подбежал к девушке, удивленный, но еще больше обрадованный тем, что ее видит.

– Солдаты говорят, – сказал он, – что на вечерней зорьке можно с духами повстречаться, они порой добрым, а порою и злым предзнаменованием служат, но для меня нет лучшего знака, чем встреча с вами.

– Пан Нововейский приехал, – отвечала Кшися, – тетушка с Басей его занимают, а я нарочно вышла вас встретить, сударь, сердце мое беспокойно было, все время думала я о том, что же сказал вам пан гетман.

Искренность этих слов тронула маленького рыцаря безмерно.

– Неужто и впрямь вы обо мне вспоминали? – спросил он и поднял на панну Кшисю взгляд.

– Да, – низким своим голосом отвечала панна Кшися.

Володыёвский не сводил с нее глаз. Никогда еще не казалась она ему такой красивой. На голове у нее была атласная шапочка, и белый лебяжий пух оттенял бледное, озаренное мягким светом месяца лицо, так что видна была и благородная линия бровей, и опущенные долу ресницы, и едва заметный пушок над губою. Каждая черта ее дышала добротой и спокойствием.

Пан Михал чувствовал что-то дружеское и глубоко родственное во всем ее облике.

– Если бы не слуга, я бы тут на снегу пал ниц перед вами, – сказал он.

– Не говори мне, сударь, таких слов, – отвечала Кшися, – я их недостойна, скажи лишь, что останешься, чтобы и впредь я могла тебя в час печали утешить.

– Нет, я еду! – отвечал пан Володыёвский.

Кшися замерла на месте:

– Быть того не может!

– Солдатская служба! На Русь еду! В Дикое Поле.

– Солдатская служба... – повторила Кшися.

Умолкла и быстрым шагом поспешила к дому. Пан Михал шел возле нее, чуть смущенный. Грустно ему было, не по себе и неловко. Он хотел что-то ответить, но разговор не клеился. И все же ему казалось, что они должны объясниться, именно сейчас, наедине, без свидетелей. «Только бы начать, – подумал он, – а там уж пойдет...»

И ни с того ни с сего спросил:

– Пан Нововейский давно приехал?

– Недавно, – отвечала Кшися, и разговор опять оборвался.

«Не так надо начинать, – подумал пан Володыёвский, – эдак никогда ничего путного не скажешь. Должно быть, от тоски я последней крупички разума лишился». И так некоторое время он шел молча, только усы у него топорщились все больше и больше.

Наконец возле самого дома он остановился и сказал:

– Видишь ли, сударыня, если я столько лет своим счастьем жертвовал ради отчизны, как же и теперь ради нее утехами своими не поступиться?

Володыёвскому казалось, что столь простой аргумент должен тотчас убедить Кшисю, но она, помедлив, ответила с мягкой грустью:

– Чем больше пана Михала узнаешь, тем больше чтить его и ценишь...

Сказав это, она вошла в дом. Уже в сенях долетели до них Басины возгласы: «Алла! Алла!»

В гостиной они увидели Нововейского, который, согнувшись в три погибели, с платком на глазах, шарил по всей комнате, пытаясь поймать Басю, а она с возгласом «Алла» увертывалась от него. Пани Маковецкая у окна беседовала с паном Заглобой.

Но с их приходом все изменилось. Нововейский снял с глаз платок и подбежал к пану Михалу здороваться. Подскочила и запыхавшаяся Бася, а там уж и сестра с паном Заглобой.

– Так что там? Говори же! Что сказал пан гетман? – начались расспросы.

– Дорогая сестра, – отвечал Володыёвский, – коли хочешь передать мужу весточку, пользуйся оказией, на Русь еду!

– Уже посылают! Ради всех святых, никого не слушай и не ездь! – жалобно воскликнула пани Маковецкая. – Что же это такое, никакого роздыха тебе нет.

– Неужто назначение получил? – спрашивал нахмурившийся Заглоба. – Верно говорит пани благодетельница – ты у них во всякой бочке затычка.

– Рушиц в Крым едет, я у него хоругвь принимаю, вот и пан Нововейский сказывал, что весной все дороги от людей черными станут.

– Неужто и впрямь одним нам суждено будто псам дворовым отбрехиваться, Речь Посполитую от татей охраняя! – воскликнул Заглоба. – Другие даже не знают, из какого конца мушкета стрелять, а мы никогда покоя не ведаем!

– Полно! Это дело решенное! – отвечал пан Володыёвский. – Служба есть служба! Я слово пану гетману дал, что воевать буду, а позднее ли, раньше ли – не все ли равно.

Тут пан Володыёвский, подняв указательный палец вверх, повторил тот же довод, что и в разговоре с Кшисей:

– Видите ли, друзья любезные, коли уж я столько лет от счастья бежал, то какими глазами буду сейчас на вас глядеть, ратную службу на милый досуг меняя?

На это никто ему не ответил, только Бася подошла к нему, нахмурившись, надув губки, словно обиженный ребенок, и сказала:

– Жалко пана Михала!

А Володыёвский весело рассмеялся:

– Дай Бог тебе счастья. Ведь ты еще вчера говорила, что любишь меня, как татарина!

– Вот еще! Как татарина! Не говорила я такого! Вы, сударь, там на татарах душу отведете, а нам без вас здесь скучать придется.

– Угомонись, гайдучок! (Прости, что я так тебя зову, но только ужас как идет тебе это прозвище.) Пан гетман сказывал, что отлучка моя будет недолгой. Через неделю или две отправлюсь в путь, а к избранию и коронации непременно должен поспеть в Варшаву. Сам гетман этого пожелал, и быть посему, даже если Рушиц из Крыма к маю не вернется.

– Вот и отлично!

– Эх, была не была, послужу и я у пана полковника под началом, – сказал пан Нововейский, быстро взглянув на Басю.

А она в ответ:

– Губа не дура! С паном Михалом служить всякий рад. Езжай, езжай, сударь! Пану Михалу веселей будет!

Молодец только вздохнул, провел широкой ладонью по пышным волосам своим и вдруг вытянул вперед руки, будто играя в жмурки, и закричал:

– Но сначала я панну Барбару поймаю, ей-ей, поймаю!

– Алла! Алла! – звонко воскликнула Бася.

Тем временем к Володыёвскому подошла Кшися. Просветлевшее лицо ее было исполнено тихой радости.

– Ах, злой, нехороший пан Михал! К Басе добрый, а ко мне злой.

– Я злой? К одной только Басе добрый? – с удивлением переспросил рыцарь.

– Басе пан Михал сказал, что скоро вернется, а кабы я это знала, не приняла бы отъезд так близко к сердцу!

– Ненагляд... – воскликнул было пан Михал, но тут же умерил пыл: – Друг мой дорогой! Сам не помню, что я наговорил, совсем, видно, голову потерял!

## Глава IX

Пан Михал понемножку стал собираться в дорогу, при этом он по-прежнему давал уроки Басе, которую полюбил от души, и ходил на уединенные прогулки с Кшисей Дрогоёвской, ища у нее утешения. Казалось, он находил его, потому что день ото дня становился все веселее и по вечерам даже принимал участие в играх Баси с паном Нововойским.

Этот достойный юноша стал частым гостем в доме Кетлинга. Он приезжал с утра или тотчас после обеда и сживал до позднего вечера. Все любили его, радовались его приезду, и очень скоро он стал в доме своим человеком. Сопровождал хозяйку с племянницами в Варшаву, делал для них покупки в галантерейных лавках, а вечерами с азартом играл с девицами в жмурки, повторяя, что до отъезда непременно должен изловить ускользавшую от него Басю.

Но она всегда увертывалась, хотя пан Заглоба и говорил:

– Все равно тебя кто-нибудь да поймают, не этот, так другой!

Но не было сомнений, что поймать ее хочет именно этот. Даже и гайдучку это было ясно, и она порой сидела задумавшись и опустив голову, так что светлые вихры ее свисали на лоб.

Пану Заглобе, по известным ему причинам, это пришлось не по вкусу, и как-то вечером, когда все уже разошлись, он постучался к маленькому рыцарю.

– Ох жаль, опять придется нам расставаться, – сказал он, – вот и сюда я пришел на тебя лишний разок глянуть... Бог знает, свидимся ли!

– На избрание и коронацию непременно приеду, – ответил, обнимая его, Володыёвский, – на то и причина есть: пану гетману надобно собрать людей, шляхтой почитаемых, дабы они ее на верный путь направили, избранника найдостойнейшего показали. А я, спасибо Всевышнему, свое доброе имя сберег, а посему гетман и меня зовет на помощь. И на тебя, ваша милость, надеется.

– Ого! Большим неводом рыбу ловит. Но только сдается мне, что хоть тощим меня не назовешь, а все же как-нибудь я оттуда да выскользну. За француза голосовать не желаю.

– Почему же?

– Потому что это *absolutum dominium*<sup>36</sup> означало бы.

– Но ведь Конде, как и любой другой, на верность конституции присягнуть должен, а полководец он отменный, во многих баталиях прославлен.

– Слава тебе Господи, искать короля во Франции нам ни к чему. И великий гетман Собеский ни в чем Конде не уступит. Примечай, Михал, французы, точно как и шведы, в чулках ходят, стало быть, как и они, чуть что – изменить присяге готовы. *Carolus Gustavus* готов был каждый час присягу давать. Для них это все равно что чарку вина выпить. У кого ни чести, ни совести, тому присяга не помеха.

– Но ведь Речь Посполитая в защите нуждается! Вот если бы князь Иеремия Вишневецкий был жив! Мы бы его *unanimitate*<sup>37</sup> королем избрали.

– Жив сын князя, его плоть и кровь!

– Все так, да только нет в нем отцовского полета! Смотреть на него и то жалость берет, потому что он больше на слугу, чем на ясновельможного князя походит. Если бы хоть времена сейчас другие были! Главная забота ныне – благо отчизны. И Скетуский тебе точно то же повторит. Что пан гетман делать будет, то и я за ним вослед, потому что в его преданность отчизне, как в Евангелие, верю.

– Полно! Об этом ты подумать успеешь. Одно плохо, что уезжать тебе надобно.

– А вы, сударь, что делать намерены?

---

<sup>36</sup> абсолютную власть (*лат.*).

<sup>37</sup> единогласно (*лат.*).

– К Скшетуским вернусь. Сорванцы его частенько меня допекают, но без них скучно.

– Если после коронации война начнется, Скшетуский выступит. Да кто знает, может, и вы, сударь, разохотитесь. Вместе будем на Руси воевать. Сколько мы там всего повидали и дурного, и хорошего!

– Правда! Истинная правда! Там прошли наши лучшие годы. А порой хочется поглядеть на те края – нашей славы свидетелей.

– Так поедем, ваша милость, со мной. Веселее вместе будет, а месяцев через пять, глядишь, снова к Кетлингу вернемся. И он к тому времени приедет, и Скшетуские...

– Нет, Михал, сейчас не время, но слово даю, если ты на Руси подходящую барышню с приданым подыщешь, я тебя провожу и на торжествах буду всенепременно.

Володыёвский смутился немного, но тут же возразил:

– Я о женитьбе не помышляю. Моя служба – лучшее тому доказательство.

– Вот это меня и тревожит, день и ночь покою не дает, я все надеялся, думал, не одна, так другая по душе тебе придется. Помилосердствуй, Михал, суди сам, где и когда сыщется такой случай. Помни, придет время, и ты сам себе скажешь: всяк жену и деток имеет, только я, сирота, один, словно дуб в чистом поле. И обидно тебе станет, и горько. Если бы ты со своей бедняжкой обвенчаться успел и она бы тебе деток оставила; ну ладно, быть посему! Чувствам твоим было бы приложение и в старости надежда и утеха, ведь не за горами время, когда тщетно будешь искать ты близкую душу и в тоске великой вопрошать себя станешь: уж не на чужбине ли я живу?

Володыёвский молчал, взвешивая его слова, а пан Заглоба снова заговорил, хитро на маленького рыцаря поглядывая:

– И умом и сердцем выбрал я для тебя нашего розовощекого гайдучка, потому что primo: это не девка, а золото, secundo: таких ядреных солдат, каких вы бы на свет произвели, на земле еще не бывало...

– Да, она огонь. Впрочем, сдается мне, пан Нововойский не прочь возле него погреться.

– То-то и оно! Сегодня она тебе предпочтение отдает, потому что влюблена в твою славу, но если ты уедешь, а он здесь останется, а он, шельма, останется наверняка, уж это я точно знаю, ведь сейчас не война, и неизвестно...

– Баська огонь! Пусть идет за Нововойского, от души ему желаю, он малый славный.

– Михал, брат! – воздев руки к небу, воскликнул Заглоба. – Сжался, подумай только, какие это были бы солдаты.

– Знал я двух братьев из семейства Баль, матушка их в девичестве Дрогоёвская, и тоже оба солдаты были отменные, – простодушно отвечал маленький рыцарь.

– Ага! Вот я тебя и поймал! Стало быть, вон куда метишь? – воскликнул Заглоба.

Володыёвский смешался до крайности. Стараясь скрыть смущение, он долго подкручивал ус и наконец сказал:

– О чем ты говоришь, сударь? Я никуда не мечу, но, когда я Басю с ее мальчишескими выходками вижу, мне тотчас же приходит на ум Кшися – женских добродетелей кладезь. Говоришь об одной, и невольно вспоминаешь другую, ведь они неразлучны.

– Ладно, ладно! Да благословит вас Господь – тебя и Кшисю, хотя клянусь, будь я моложе, насмерть бы в Басю влюбился. Если и война случится, такую жену можно не оставлять дома, а с собой в поход взять. Она и в шатре тебя согреет, а коли придется, то и одной рукой из пистолета палить сумеет. А уж честная, порядочная! Ах, гайдучок ты мой милый, не поняли тебя и черной неблагодарностью отплатили, но уж я, кабы скинуть мне эдак годков двадцать – тридцать, уж я знал бы – кому в моем доме быть хозяйкой!

– Басиных достоинств я не умаляю!

– Но ведь ей ко всем ее достоинствам еще и муж нужен! Вот о чем речь! А ты предпочел Кшисю!

– Кшися мне друг.

– Друг, а не подруга? Уже не потому ли, что у нее усы?

Я твой друг, Скшетуский, Кетлинг. Тебе не друг, а подруга нужна. Скажи это себе ясно, не напускай тумана. Больше всего на свете бойся друга из хитроумного женского племени, даже если у него усики: или он тебя предаст, или ты его. Черт не дремлет и всегда рад встрять меж такими друзьями. Примером тому Адам и Ева, кои до того дружны были, что Адаму дружба эта поперек горла стала.

– Сударь, не смейте оскорблять Кшисю! Этого я не потерплю!

– Да Бог с ней, он ее добродетелей свидетель! По мне, так лучше гайдучка не сыщешь! Но и Кшися девка хоть куда! Я и не думал ее оскорблять, но только одно скажу: когда ты с ней рядом, у тебя так горят щеки, словно тебя кто щиплет, и усы шевелятся, и на голове хохолок торчит, ты и сопишь, и каблучками постукиваешь, и дышишь тяжело, с ноги на ногу переступаешь, словно нетерпеливый конь, а это все страстей верные *signa*<sup>38</sup>. Болтай кому хочешь, что это дружба, у меня свои глаза есть.

– Видят то, чего нет и в помине...

– Ах, если бы я заблуждался! Если бы ты о моем гайдучке помышлял! Покойной ночи, Михал! Гайдучка бери в жены, гайдучка! Гайдучок всех краше! Бери, бери гайдучка!..

Сказав это, пан Заглоба встал и вышел из комнаты.

Пан Михал всю ночь ворочался с боку на бок, не мог уснуть, мысли разные ему покоя не давали. Все ему чудилось лицо панны Дрогоёвской, ее глаза с длинными ресницами, пушок над верхней губой. Иногда нападала на него дремота, но видения не отступали. Просыпаясь, он думал о словах Заглобы и о том, как редко изменял этому человеку здравый смысл. Иногда в полусне мелькало перед ним румяное личико Баси, и он вздыхал с облегчением, но потом Басю вытесняла Кшися. Повернется бедный рыцарь лицом к стене и видит ее глаза; повернется на другой бок во тьме ночной, и снова перед ним ее глаза, а во взоре томность и словно бы надежда на что-то. Иногда ресницы опускались, как бы говоря: «Да будет воля твоя»! Пан Михал даже приподнимался впотьмах и начинал креститься.

Под утро сон совсем оставил его. Тяжко, грустно ему стало. Совесть его замучила, горько упрекал он себя, что не ту, давнюю, любимую, перед собою видит, а душа и сердце его полны живою. Показалось ему, что совершил он тяжкий грех, забыв о покойной, и, встрепенувшись, в потемках выскочил из постели и начал читать молитвы.

Помолившись, приложил палец ко лбу и сказал:

– Надо ехать, да поскорее, а про дружбу эту забудь, пан Заглоба дело говорит...

Повеселев и успокоившись, пан Михал сошел вниз к завтраку. После завтрака он занялся фехтованием с Басей и, глядя, как она машет сабелькой, раздувает ноздри и дышит прерывисто, невольно залюбовался ею.

Пан Михал избегал Кшисю, а она, заметив это, глядела на него изумленными глазами. Но он старался избегать даже ее взгляда. Сердце у Михала обливалось кровью, но он держался. После обеда пан Михал вместе с Басей направился во флигель, где у Кетлинга был еще один оружейный склад. Показывал Басе всевозможные сабли и мечи да ружья с хитрым устройством. Вместе с ней стрелял в цель из астраханских луков.

Бася радовалась и резвилась как дитя, пока не вмешалась тетка.

Так прошел второй день. На третий Володыёвский вместе с Заглобой поехали в Варшаву, во дворец Даниловичей, узнать про отъезд, а вернувшись, вечером за ужином пан Михал объявил дамам, что едет через неделю.

Сказал это словно бы между прочим – невзначай и весело. На Кшисю даже не глянул.

<sup>38</sup> приметы (*лат.*).

Девушка всполошилась, заговорила с ним, он был приветлив, учтив, но не отходил от Баси.

Заглоба, полагая, что пан Михал внял его словам, потирал от радости руки. Но от острого его взора не могла укрыться Кшисина печаль.

«Вон как ее разобрало! – думал он. – Ну да ничего! Такова уж их женская натура. А Михал-то каков! В другую сторону повернул быстрее, чем ждали. Ох и лихой малый, вихрь, огонь, таким был и таким будет!»

Но сердце у Заглобы было доброе, и вскоре ему стало искренне жаль Кшисю. «Directe<sup>39</sup> не скажу ничего, – подумал он, – но непременно нужно ей утешение придумать».

И, зная, что седины оградят его от кривотолков, он после ужина подсел к девушке и ласково провел рукой по черным шелковистым ее волосам. А она сидела неподвижно, устремив на него взгляд своих добрых глаз, чуть удивленная, но признательная.

Вечером у дверей, ведущих в комнату Володыёвского, Заглоба слегка толкнул его локтем в бок.

– Ну что? – сказал он. – Каков наш гайдучок?

– Атаман! – отвечал Володыёвский. – Все вверх дном перевернет. Одна четверых стоит. Ей бы полком командовать!

– Полком, говоришь?! Ну да, вместе с тобой, а там, глядишь, вашего полку бы и прибыло... Покойной ночи! Кто их разберет, этих женщин! Когда ты на Баську поглядывать стал, видел, как Кшися убивалась?

– Не видел!.. – отвечал маленький рыцарь.

– Ее как будто подменили!

– Покойной ночи! – повторил Володыёвский и закрыл дверь.

Полагаясь на удачу маленького рыцаря, пан Заглоба, пожалуй, просчитался и вообще сделал ложный шаг, рассказав ему о Кшисе. Пан Михал растрогался чуть не до слез.

– Вот как я отплатил ей за доброту, за то, что она меня как сестра в часы грусти утешала... – говорил он себе. – А впрочем, чем же я провинился? – продолжал он, подумав немного. – Что сделал? Избегал ее целых три дня, а это и непolitично, пожалуй! Обидел горлинку, это небесное создание. За то, что она мои vulnera<sup>40</sup> исцелить хотела, я ей черной неблагодарностью отплатил. Если бы я хоть знал меру и, чувства скрывая, не избегал ее, но нет, не хватает у меня ума на такие тонкости.

И зол был на себя пан Михал, а вместе с тем великое сострадание пробудилось в его груди.

И невольно Кшися казалась ему теперь бедным, обиженным созданием. С каждым мгновением он упрекал себя все больше.

– Экий я barbarus, однако, экий barbarus, – повторял он.

И Кшися снова вытеснила Басю из его сердца.

– Пусть кто хочет женится на этой попрыгунье, на этой трещотке, этой вертихвостке! – говорил он себе. – Нововейский или сам дьявол – мне все едино!

Ни в чем не повинная Бася вызывала у него теперь злость и досаду, и ни разу ему не пришлось в голову, что злостью своей он обижает ее куда больше, чем притворным равнодушием Кшисю.

Кшися женским умом своим тотчас почувствовала смятение пана Михала. Ей и обидно, и горестно было, что маленький рыцарь ее избегает, и все же она понимала, что одна чаша должна перевесить – судьба сведет их еще ближе или разведет навсегда.

---

<sup>39</sup> Прямо (лат.).

<sup>40</sup> раны (лат.).

При мысли о скором отъезде пана Михала она все больше тревожилась. В сердце девушки не было любви. Она ее еще не знала. Но была исполнена великой готовности любить.

А впрочем, быть может, пан Михал слегка и вскружил ей голову. Он был в зените славы, его называли лучшим солдатом Речи Посполитой. Знатные рыцари произносили с почтением его имя. Сестра превозносила до небес его благородство, несчастье придавало ему таинственность, к тому же, живя с ним под одной крышей, девушка и сама не могла не оценить его достоинств.

Кшисе нравилось быть любимой, такова была ее натура; и когда в эти последние перед отъездом дни пан Михал вдруг сделался к ней холоден, она была уязвлена, но благоразумно решила не дуться и добротой вновь завоевать его сердце.

Это оказалось совсем нетрудно: на другой день Михал ходил с виноватым видом и не только не избегал Кшисино взгляда, а словно хотел сказать: «Вчера я не замечал тебя, а сегодня готов просить прощения».

И бросал на нее такие красноречивые взгляды, что к лицу ее приливалась кровь и душу томило предчувствие, что непременно случится что-то важное. Все к тому и шло. После обеда пани Маковецкая вместе с Басей отправилась навестить Басину родственницу, супругу львовского подкомория, что гостила в Варшаве, а Кшися, сославшись на головную боль, осталась дома: ее разбирало любопытство, что-то они с паном Михалом скажут друг другу, когда останутся наедине.

Пан Заглоба тоже сидел дома, но он любил после обеда соснуть часок-другой, говоря, что дневной сон освежает и располагает к вечернему веселью. Побалагурив часок, он ушел к себе. Кшисино сердце забилося тревожной.

Но какое же ждало ее разочарование! Михал вскочил и вышел с ним вместе.

«Полно, скоро вернется», – подумала Кшися.

И, натянув на маленькие круглые пальцы шапку, подарок Михалу на дорогу, стала золотом вышивать ее.

Но, впрочем, она то и дело поднимала голову и поглядывала на гданьские часы, что стояли в углу гостиной и важно тикали.

Прошел час, другой, а рыцаря не было.

Панна положила пальцы на колени и, скрестив руки, заметила вполголоса:

– Робеет, но, пока с силами соберется, наши, того и гляди, нагрянут, так мы ничего друг другу и не скажем. А то и пан Заглоба проснется.

В эту минуту ей и впрямь казалось, что они должны тотчас объясниться, а Володыёвский все медлит, и объяснение может не состояться. Но вот за стеной послышались шаги.

– Он тут недалеко, – сказала панна и снова с усердием склонилась над вышивкой.

Володыёвский и в самом деле был за стеною, в соседней комнате, но войти не смел, а тем временем солнце побагровело и стало клониться к закату.

– Пан Михал! – окликнула его наконец Кшися.

Рыцарь вошел и застал Кшисю за вышиванием.

– Вы звали меня, сударыня?

– Подумала, не чужой ли кто бродит? Вот уже два часа, как я здесь одна.

Володыёвский придвинул стул поближе и уселся на краешек.

Прошла еще минута, показавшаяся вечностью; Володыёвский молчал и шаркал ногами от волнения, пряча их под стул, да усы у него вздрагивали. Кшися отложила шитье и подняла на него глаза; они глянули друг на друга и в смущении потупились...

Когда Володыёвский снова взглянул на Кшисю, лицо ее освещало заходящее солнце, и она была чудо как хороша. Завитки ее волос отливали золотом.

– Покидаете нас, сударь? – тихо спросила она Михала.

– Что делать?!

И снова наступило молчание, которое нарушила Кшися.

– Я уж думала, вы сердитесь на меня, – тихонько сказала она.

– Жизнью клянусь, нет! – воскликнул Володыёвский. – Коли так, я бы и взгляда вашего не стоил. Но клянусь, не было этого!

– А что было? – спросила Кшися, подняв от шитья взгляд.

– Вы знаете, сударыня, я всегда правду говорю, любой выдумке ее предпочитаю. Но каким утешением были для меня ваши слова – этого выразить не сумею.

– Дай Бог, чтобы всегда так было, – сказала Кшися, сплетая руки на пальцах.

– Дай Бог! Дай Бог! – отвечал пан Михал с грустью. – Но пан Заглоба... как на духу говорю вам, сударыня... пан Заглоба сказывал, что дружба с лукавым племенем многие опасности таит. Она подобна жару в печи, что лишь подернут золою, вот я и поверил в опытность пана Заглобы, и – ах, прости, сударыня, простака солдата, кто-нибудь наверное поискусней бы фортель придумал, а я... я пренебрегал тобою, хотя и сердце истекало кровью, и жизнь не мила...

Сказав это, пан Михал зашевелил усиками с такой быстротою, какая и жуку недоступна.

Кшися опустила голову, и две крохотные слезинки одна за другой скатились по ее щекам.

– Коли вам, сударь, так покойнее, коли родственные мои чувства для вас помеха, я их от вас скрою.

И еще две слезинки, а за ними и третья блеснули в ее взоре.

Но этого зрелища пан Михал не мог вынести. В мгновение ока он оказался возле Кшиси и взял ее руки в свои. Пяльцы покатались с колен на середину комнаты; рыцарь не обращал на это никакого внимания; он прижал к губам теплые, нежные, бархатистые руки и повторял:

– Не плачь, душенька! Умоляю, не плачь!

Она обхватила руками голову, как это бывает в минуты смущения, но он все равно осыпал их поцелуями, пока живое тепло ее лба и волос окончательно не лишило его рассудка.

Он сам не заметил, как и когда губы его дотронулись до ее лба, и стал целовать его все горячее, а потом коснулся заплаканных глаз, и тут голова у него пошла кругом, он прикоснулся к нежному пушку над ее губами, и уста их соединились в долгом поцелуе. В комнате стало совсем тихо, только часы по-прежнему важно тикали.

Неожиданно в передней послышался топот ног и звонкий голос Баси.

– Ох мороз! Ну и мороз! – повторяла она.

Володыёвский отскочил от Кшиси, словно испуганный тигр от жертвы, и в ту же минуту в комнату ворвалась Бася:

– Ох мороз! Ну и мороз!!!

И вдруг споткнулась о лежавшие посреди комнаты пяльцы. Остановилась и, с удивлением поглядывая то на пяльцы, то на Кшисю, сказала:

– Что это? Это вы заместо снаряда друг в дружку кидали?

– А где тетушка? – спросила панна Дрогоёвская, стараясь унять волнение в груди и говорить как можно спокойнее и натуральнее.

– Тетушка из саней выбираются, – тоже изменившимся голосом отвечала Бася.

Подвижные ее ноздри раздувались. Она еще раз глянула на Кшисю, на пана Володыёвского, который за это время успел поднять пяльцы, повернулась и выбежала.

Но в эту минуту в гостиную величественно вошла пани Маковецкая, сверху спустился пан Заглоба, и они повели разговор о супруге львовского подкомория.

– Я не знала, что кума пану Нововойскому крестной матерью доводится, – говорила тетушка, – да он, должно быть, открылся ей во всем. Басе покою не давала – все о нем да о нем.

– Ну а Бася что? – спросил Заглоба.

– А что там Бася! Как об стенку горох. Говорит: «У него нет усов, у меня разума, поглядим, кто скорей своего дождется».

– Знаю, за словом в карман она не полезет, но что там у нее на уме? Ох и хитрое племя!  
– У Баськи что на уме, то и на языке. А впрочем, я вашей милости говорила, не почувала она еще Божьей воли. Кшися – статья особая.

– Тетенька! – неожиданно подала голос Кшися.

Но дальнейший разговор прервал слуга, объявивший, что кушать подано.

Все пошли в столовую, только Баси не было.

– А где же барышня? – спросила хозяйка слугу.

– Барышня на конюшне. Говорю ей, ужинать пора, а она в ответ: «Сейчас» – и на конюшню бегом.

– Или стряслось что? Такая веселая была! – сказала пани Маковецкая, обращаясь к Заглобе.

– Пойду приведу ее! – сказал маленький рыцарь, чувствуя укоры совести.

И поспешил на конюшню.

Бася и в самом деле была там: сидела у дверей на охапке сена. Задумалась и не заметила, как он вошел.

– Панна Барбара! – сказал маленький рыцарь, склоняясь над ней.

Бася вздрогнула, будто очнувшись, и подняла на него глаза, в которых Володыёвский, к своему великому удивлению, увидел две большие, будто жемчуг, слезы.

– О Боже! Что с тобой? Ты плачешь?

– И вовсе нет! Во все нет! – вскочив, воскликнула Бася. – Это с мороза!

И рассмеялась, но смех ее звучал ненатурально.

А потом, желая отвлечь от себя внимание, показала на стойло, где стоял жеребец, подарок Володыёвскому от гетмана.

– Ты говоришь, сударь, что к этому коню и подойти нельзя? А ну поглядим!

И прежде чем Михал успел ее остановить, вошла в стойло. Жеребец тут же взвился на дыбы, забил копытами, прижал уши.

– О Боже! Да он убьет тебя, панна Бася! – воскликнул Володыёвский, вбегая вслед за ней в стойло.

Но Бася бесстрашно хлопала коня по холке, повторяя:

– Ну и пусть! Пусть! Пусть убьет!

А конь, повернув к ней морду с дымящимися ноздрями, тихонько ржал, будто радуясь ласке.

## Глава X

Всю ночь Володыёвский не сомкнул глаз, все прежние страдания казались ему ничтожными. Он корил себя за измену умершей, память о которой так чтил, и за то, что дурно поступил с живою, вселил в ее душу надежды, злоупотребил дружбой, поступил как человек без чести и совести. Другой и думать забыл бы о поцелуе, ну, может, вспомнил бы эту историю, лихо покручивая ус; но пан Володыёвский, как всякий человек, потерпевший в жизни крушение, после смерти Ануси сделался очень щепетилен. Что ему было делать? Как поступить?

До его отъезда, который сразу положил бы всему конец, оставалось несколько дней. Но как уехать, не сказав ни слова Кшисе, бросить ее после всего, что было, как бросают простую девку? При одной только мысли об этом его отважное сердце бунтовало. Но все же и теперь, в минуты смятения, стоило пану Михалу вспомнить про поцелуи, он испытывал ни с чем не сравнимое блаженство.

Он и злился, и досадовал на себя, но противиться этому дурману, этому наваждению не мог. Впрочем, во всем винил он себя одного.

– Это я сбил Кшисю с толку, я ее взбаламутил, – повторял он с болью и горечью, – и негоже мне уезжать, не объяснившись. Как же быть? Сделать предложение и уехать женихом?

И тут подобно светлому облачку вся в белом являлась перед ним Ануся, какой он видел ее в последний раз, на смертном одре.

«Столько-то уж я заслужила, – говорила ему тень, – чтоб ты жалел меня и помнил. Ты хотел стать монахом, всю жизнь по мне плакать, и вот не успела душа моя достичь врат небесных, нашел другую. Ах, подожди! Дай бедной душе моей попасть на небо, и тогда я на землю глядеть перестану...»

Рыцарю казалось, что он клятвопреступник, что обманул он эту светлую душу, память о которой нужно было бы чтить и хранить как святыню. И тоска его разбирала, и стыд, и к себе презрение. Умереть ему хотелось.

– Ануся! – восклицал он, стоя на коленях. – Я по тебе до самой смерти плакать не перестану, но что же мне теперь делать?

Тень не отвечала ему, улетаая облаком небесным, а вместо нее рыцарю представлялась вдруг Кшися, ее глаза, ее рот с пушком над верхнею губою, и он, словно от татарских стрел, отмахивался от искушения. Впрочем, с искушением он бы совладал, но совесть говорила ему: «Скверно, брат, будет, коли ты теперь уедешь, ввергнув в соблазн чистую душу».

Тревога, отчаяние, сомнения преследовали бедного рыцаря по пятам. Веря в житейскую мудрость пана Заглобы, он думал было пойти к нему за советом, во всем ему признаться. Ведь кто, как не он, видел все наперед и заранее говорил – бойся дружбы с этим лукавым племенем! Но, впрочем, именно поэтому пан Михал и не решился подойти к Заглобе. Вспомнил он, как сам, всплыв, крикнул: «Не оскорбляй, сударь, Кшисю!» И кто же ее оскорбил? Кто размышлял теперь, не оставить ли ее, словно простую девку, не уехать ли подобру-поздорову!

– Если бы не память о бедняжке-покойнице, я и не думал бы убиваться, – говорил себе маленький рыцарь, – не горевал бы, а радовался, что удалось мне эдаких приятностей отведавать. – И через минуту добавил: – И еще раз отведавать бы не отказался.

Заметив, однако, что соблазн снова взял верх, и пытаясь от него отмахнуться, сказал себе: «Коли я однажды поступил как человек, что более всего на Купидона уповает, быть посему, завтра же объяснюсь и предложение сделаю».

Он вздохнул и продолжал рассуждать так: «Сей поступок и вчерашнюю мою вольность сгладит, благородство ей придав, а завтра я смогу себе и новые позво...»

Тут он ударил себя ладонью по губам:

– Тьфу! Никак, целая орда бесов-искусителей мне за шиворот забралась!

Но от мысли о помолвке больше не отказывался, утешаясь тем, что заупокойными месами замолит перед Анусей свою вину, дав ей знать, что по-прежнему ее чтит и не устает за нее молиться.

Впрочем, если и пойдут какие толки да пересуды, что вот, мол, лишь две недели прошло с той поры, как он хотел постричься в монахи, а уже и влюбиться и посвататься успел, то весь позор падет лишь на него, а иначе людская молва не пощадит ни в чем не повинную Кшисю.

– Решено, завтра же делаю предложение! – сказал он себе.

С души его словно камень свалился. Прочитав на ночь «Отче наш» и горячо помолившись за упокой Анусиной души, он уснул. Утром, проснувшись, повторил:

– Сегодня же объяснюсь, всенепременно.

Но, впрочем, оказалось, что сделать это не так-то легко; пан Михал, прежде чем обнародовать свое решение, хотел потолковать с Кшисей наедине, а там что Бог даст. Но как на грех с самого утра приехал пан Нововейский, и по всему дому разносился его молодой голос.

Кшися ходила как в воду опущенная, бледная, измученная, она то и дело опускала глаза, иногда вдруг заливалась румянцем, так, что даже на шее проступали пятна, губы у нее дрожали, казалось, она вот-вот заплачет, а потом снова делалась как неживая.

Рыцарю никак не удавалось к ней подойти и, главное, остаться с глазу на глаз. Разумеется, он мог бы пригласить девушку на прогулку, утро было отменное, и прежде он бы и не раздумывал, но теперь не смел, ему казалось, что все тотчас догадаются о его намерениях.

Выручил его пан Нововейский. Он отвел в сторону тетушку и о чем-то с ней пошушукался, после чего они вернулись в гостиную, где пан Заглоба с маленьким рыцарем занимали беседой барышень, и тут тетушка сказала:

– А не прокатиться ли вам на санях парочками, вон как снег искрится!

Володыёвский тут же, склонившись, прошептал Кшисе на ухо:

– Умоляю, сударыня, сесть со мной. Я столько хотел бы вам сказать!

– Хорошо, – отвечала девушка.

Рыцари мигом помчались в конюшню, Бася за ними следом, и вскоре к дому подъехали двое саней. В одни уселись Володыёвский с Кшисей, в другие – Нововейский с гайдучком. Ехали без кучеров.

А пани Маковецкая доверительно сказала Заглобе:

– Пан Нововейский просит Басиной руки.

– Неужто? – встревожился Заглоба.

– Его крестная матушка, супруга подкомория львовского, завтра приедет сюда для разговора, а пан Нововейский просил меня подготовить Басю. Он и сам понимает, коли Бася против, все хлопоты и уловки напрасны.

– И потому, сударыня, ты их в сани усадила?

– А как же. Муж мой, человек щепетильный, частенько говаривал: «Я над их имуществом опекун, но мужей пусть выбирают сами. По мне, был бы честный малый, а за богатством гнаться не след». Слава Богу, они не дети, им решать!

– И что ты, сударыня, собираешься куме ответить?

– Муж мой в мае приедет: его слово последнее, но полагаю, он Басиной воле противиться не станет.

– Нововейский еще мальчишка!

– Да ведь сам Михал его хвалит, солдат, мол, отменный, в походах отличился. Наследство у него приличное, а про родословную крестная все подробно сказывала. Видишь, сударь: мать его прадеда в девичестве княжна Сенютувна, а дед primo voto<sup>41</sup> был женат...

---

<sup>41</sup> в первом браке (лат.).

– Что мне за дело до его родословной! – с досадой прервал ее Заглоба, – он мне ни брат ни сват, и скажу вам, почтеннейшая, я гайдучка, по совести говоря, для Михала предназначал, потому что коли среди девок, что на двух ногах ходят, найдется хоть одна умнее и порядочнее ее, то я готов отныне аки ursus<sup>42</sup> на все четыре опуститься.

– Михал еще ни о чем таком не помышляет, а если и помышляет, то ему больше Кшися приглянулась... Ох, ох! На Бога положиться надо, на Бога, пути его неисповедимы!

– Пути путями, но если этот молокосос уберется отсюда с тыквой, напьюсь на радостях!

А тем временем в санях шли свои беседы. Пан Володыёвский долго не мог вымолвить ни слова, но наконец сказал Кшисе:

– Не думай, сударыня, что я вертопрах или обманщик какой, да и лета не те.

Кшися промолчала.

– Прости, сударыня, мне вчерашнюю мою дерзость, но всему виною мое исключительное к тебе расположение, не мог я сдержаться, дал сердцу волю... Любезный друг мой, бесценная моя Кшися! Ты знаешь, пред тобой простой человек, солдат, у которого вся жизнь на поле брани прошла... Другой бы сначала красноречие в ход пустил, а потом к действиям перешел, а я – напротив... Да что говорить, даже обьезженный конь, разгорячившись, и то порой закусит удила, так как же не горячиться влюбленному, ведь разгон тут куда больше. Так и я закусил удила, забыв обо всем, потому что мила ты моему сердцу, Кшися, любимая! Знаю, ты и каштелянов, и сенаторов достойна; но если ты готова одарить благосклонностью простого солдата, который, хоть и без больших чинов, приносил пользу отечеству немалую... то я к твоим ногам упаду, буду целовать их и спрашивать: «Нравлюсь ли я тебе? Не противен ли?»

– Пан Михал!.. – воскликнула Кшися. Пальчики ее, высунувшись из муфты, легли на его ладонь.

– Ты согласна? – спросил Володыёвский.

– Да! – отвечала Кшися. – И знаю, в целой Польше не нашлось бы человека достойнее.

– Да вознаградит тебя Бог! Вознаградит тебя Бог, Кшися! – говорил рыцарь, осыпая поцелуями ее руку. – Я и не думал, не надеялся, что эдакого счастья дождусь! Скажи мне, ты не сердись за вчерашнюю дерзость, а то меня совесть замучила?

Кшися зажмурилась.

– Не сержусь! – сказала она.

– Эх, кабы мне сейчас не санями править, целовал бы я твои ножки! – воскликнул Володыёвский.

Некоторое время ехали молча, слышен был только свист полозьев на снегу да стук мерзлого снега, отлетавшего из-под копыт.

И снова послышался голос Володыёвского:

– Диво дивное, что не пренебрегла ты мною!

– Еще большее диво, – отвечала Кшися, – что ты, сударь, полюбил меня так скоро...

Тут на лицо Володыёвского набежала тень, и он сказал:

– Кшися, может, это и грех, что я, все глаза проплавав по одной, уже успел полюбить другую. Как на духу говорю, не всегда я славился постоянством. Но теперь все иначе. Покойницы, бедняжки, я не забыл и никогда не забуду, до сих пор я ее люблю, и кабы ты знала, как душа моя по ней плачет, ты бы сама заплакала надо мною...

Тут у маленького рыцаря сжалось сердце, может, поэтому он не заметил, что слова его не слишком тронули Кшисю.

И снова наступило молчание, но на сей раз первой заговорила Кшися:

– Буду стараться вас утешить, сколько сил моих хватит.

<sup>42</sup> медведь (лат.).

– Потому-то, видно, я и полюбил тебя, – отвечал Володыёвский, – что с первого дня ты мои раны врачуешь. Чем я был для тебя? Ничем! Но ты, в душе милосердие и жалость к бедному страдальцу имея, тотчас взялась за дело. Ах! Скольким я тебе обязан! Может, и скажет кто – в ноябре монах, а в декабре жених. Первым пан Заглоба посмеяться рад, он никогда такой оказии не упустит, ну и пусть смеется на здоровье! Мне до этого нет дела, все упреки приму на себя...

Тут Кшися подняла глаза к небу, обдумывая что-то, и наконец сказала:

– А неужто нужно о нашем уговоре людям докладывать?

– Как так?

– Вы ведь уезжаете скоро?

– Что поделаешь, такова моя доля.

– Я траур по батюшке ношу. Зачем себя выставлять на посмешище? О нашем уговоре мы знаем, а людям до вашего возвращения знать о нем нечего. Ладно?

– И сестре не говорить ничего?

– Я сама ей все скажу после отъезда вашего.

– И пану Заглобе?

– Пан Заглоба посмеялся бы надо мной, сиротой. Эх, верно, лучше помалкивать. И Бася бы мне тоже докучать стала, я и так в ней какие-то странности замечаю: то она смеется, то плачет! Нет, уж лучше помалкивать!

Тут Кшися снова возвела к небу свои темно-синие глазки:

– Бог нам свидетель, а люди пусть остаются в неведении.

– Вижу, что разум твой красоте не уступит! Решено! Бог нам свидетель, аминь! Обопрись об меня локоточком, думаю, после объяснения нашего греха в этом нет. Не бойся, вчерашней вольности я не допущу – чай, лошадьми правлю!

Кшися послушалась рыцаря, а он сказал:

– Когда мы одни, по имени меня зови.

– Неловко мне, – отвечала она с улыбкой. – Никогда не решусь, наверно!

– А я решился!

– Ведь пан Михал рыцарь, пан Михал отважный, пан Михал солдат!..

– Кшися! Любимая!

– Мих...

Но закончить слово Кшися не решилась и спрянула лицо в муфту.

Обратно пан Михал с Кшисей домчали мигом, по дороге больше ни о чем не говорили, и только уже у ворот маленький рыцарь спросил еще раз:

– Скажи мне, было ли тебе грустно после вчерашнего?

– Было мне и грустно, и стыдно... Но хорошо на удивление, – добавила она чуть тише.

Они умолкли и больше не глядели друг на друга, чтобы не привлекать чужого внимания.

Но предосторожность эта была излишняя: никто и не глянул в их сторону.

Правда, и Заглоба, и пани Маковецкая выскочили навстречу приехавшим, но взгляды их были устремлены только на Басю и пана Нововойского.

У Баси не то с мороза, не то от волнения пылали щеки, а Нововойский ни на кого не глядел. Тотчас же в дверях он откланялся. Напрасно тетушка уговаривала его остаться, напрасно и сам Володыёвский, который был в отменном настроении, приглашал его отужинать – отговорившись службой, он уехал. Тетушка молча поцеловала Басю в лоб, а она тотчас ушла к себе и не вышла к ужину.

На другой день пан Заглоба, перехватив где-то Басю, спросил ее:

– Ну что, вчера пана Нововойского холодной водой окатила?

– Ага! – отвечала она, кивнув и моргая ресницами.

– Ответствуй, что ты ему сказала?

- Разговор был короткий, он рубит сплеча, но и я без хитростей – нет, говорю!
- За поступок хвалю! Дай я тебя расцелую! А он что? Так легко от тебя отказался?
- Спрашивал, не изменю ли я со временем решения. Жаль мне его, да нет, нет, не будет

толку.

Тут Бася раздула ноздри и трянула вихрами, чуть грустно, словно задумавшись.

– Скажи мне, какие у тебя резоны? – сказал Заглоба.

– И он про это спрашивал, да только зря; ему не сказала и никому не скажу.

– А может, – промолвил Заглоба, быстро заглянув ей в глаза, – может, в сердце твоём скрытый от всех сантимент таится?

– Не сантимент, а дуля! – воскликнула Бася.

И, сорвавшись с места, чтобы скрыть смущение, затараторила:

– Знать не хочу пана Нововейского! Знать не хочу! Никого не хочу знать!! И что тебе, ваша милость, и что всем вам до меня за дело?

Тут она расплакалась.

Пан Заглоба утешал ее, как умел, но она весь день ходила надутая и злая.

– Михал, – сказал за обедом Заглоба, – ты уедешь, а тем временем Кетлинг нагрывает, красавец писанный! Не знаю, устоят ли перед ним наши барышни, боюсь, обе будут от него без ума.

– Вот и славно! – отвечал Володыёвский. – Просватаем за него панну Басю.

Бася вдруг уставилась на него и спросила:

– А что же, сударь, ты о Кшисе так не печешься?

– Милая Бася, чары Кетлинга тебе пока неизвестны, но скоро ты узнаешь их власть.

– А Кшиса не узнает? Ведь это же не я пою:

Где же укрыться  
Трепетной птице,  
Горлинке белоголовой?

Тут в свой черед смутилась и Кшиса, а коварная змейка ужалила снова:

– Я у пана Нововейского щит попрошу от стрел укрыться, а где найдет бедная Кшиса защиту, коли ее стрела достигнет?

Но Володыёвский, уже опомнившись, отвечал сурово;

– Может, и она сумеет защититься не хуже...

– Хотела бы знать – почему?

– Да потому, что она не столь ветрена, а благоразумию и рассудительности у нее поучиться можно.

Пан Заглоба и тетушка ждали, что строптивый гайдучок тут же кинется в атаку, но, к великому их удивлению, Бася, склонив голову над тарелкой, прошептала:

– Если пан Михал сердится, то прошу прощения и у него, и у Кшиси...

## Глава XI

Пану Михалу дозволено было ехать любой дорогой, какая ему глянется, и он завернул в Ченстохову, на Анусину могилу. Там выплакавшись вволю, он двинулся дальше, в плену свежих еще воспоминаний, и невольно думал, что все же тайное обручение с Кшисей было несколько преждевременно. Он смутно чувствовал: в скорби и в трауре есть нечто священное, чего нельзя касаться, пока оно само не развеется, не поднимется облачком к небу и не исчезнет в небесных высях.

Случалось, правда, что вдовцы женились через месяц или два после похорон, но они не собирались до этого постричься в монахи, да и удар не достигал их на пороге счастья столь долгожданного. Впрочем, если грубые эти души не понимали святости скорби, то стоило ли следовать их примеру?

Словом, ехал пан Володыёвский на Русь, а укору совести спутники его были. Но, стараясь быть справедливым, он брал вину на себя, а не перекладывал бремя ее на Кшисю.

Ко всем мучившим его мыслям прибавилось еще и опасение, что и Кшися в глубине души не одобряет его поспешности.

– Сама она никогда бы не сделала этого, – говорил себе пан Михал, – а имея благородное сердце, и от других такого же благородства *desiderat*.<sup>43</sup>

При мысли, что он мог показаться ей столь ничтожным, его охватывал страх.

Впрочем, опасения пана Михала были напрасны. Кшися не разделяла его скорби, напротив, сетования эти не только не вызывали у нее сочувствия, а разжигали ревность. Неужто она, живая, уступает в чем-то умершей? Или вообще у нее так мало достоинств, что Ануся даже в гробу остается ее соперницей? Если бы пан Заглоба был посвящен в тайну, он утешил бы Михала, сказав, что женщины не слишком милосердны друг к другу.

Но, оставшись одна, панна Кшися, пожалуй, была не менее озадачена тем, что произошло, а главное, тем, что жребий брошен.

Собираясь в Варшаву, где прежде никогда не была, Кшися представляла себе все совсем иначе. Вот на сейм и коронацию съедутся епископы и вельможи, соберется весь цвет рыцарства Речи Посполитой. Сколько же там будет забав, развлечений, свиданий, и в этом водовороте непременно встретится «он», незнакомый, таинственный, являвшийся лишь во сне; непременно пылко влюбится, часами будет простаивать под окном с цитрою, устраивать в честь прекрасной дамы всевозможные кавалькады, любить, вздыхать, хранить ленточку или платочек своей богини, украсив ими оружие, и наконец, когда все испытания будут позади, упадет к ее ногам и признается в любви.

Но ничего такого не случилось.

Радужные мечты рассеялись, перед глазами ее предстал рыцарь прославленный в сражениях, храбрый воин Речи Посполитой, готовый на все, но на сказочного принца не слишком, а быть может, и вовсе не похожий. Не было ни кавалькад, ни игры на цитре, ни турниров, ни соперничества, ни ленточек, украшавших оружие, ни веселого смеха рыцарей, ни забав, ничего из того, что дурманит, как сон, влечет, как чудесная сказка, радуется, как птичка своими трелями, пьянит, как запах цветов, так что кружится голова, пылает лицо, стучит сердце, дрожь пробегает по телу... Увы... Тут была лишь небольшая усадьба, в усадьбе пан Михал, потом вдруг непредвиденное объяснение – и остальное пропало, померкло, как меркнет месяц на небе, когда набегут тучи... Если бы пан Михал явился позднее, может быть, он был бы желанным. Разумеется, Кшися, размышляя о пане Михале, отдавала дань его славе, благородству, его мужеству, знала, что он слывет первым солдатом Речи Посполитой и одно имя его приво-

---

<sup>43</sup> требует (*лат.*).

дит врага в трепет, гордилась им, и казалось ей только, будто ее обошли, что она обманулась в своих надеждах чуть-чуть по его вине, а еще больше из-за поспешности...

Эта вот поспешность, словно зернышко песка, легла на сердце тяжестью и ему, и ей, и чем дальше они были друг от друга, тем сильнее давила. Иногда в человеческих чувствах какая-то самая незначительная помеха докучает, как укол крохотного шипа, но со временем ранка или заживает, или, наоборот, начинает кровоточить и болеть еще сильнее, даже самую большую любовь болью и горечью заправив. Но они еще ни боли, ни горечи не знали. А для пана Михала Кшися была сладким и волшебным воспоминанием, которое следовало за ним повсюду как тень.

Пан Михал думал, что чем дальше он уедет от Кшиси, тем она станет для него дороже, тем больше он будет по ней и грустить, и тосковать. Для нее время тянулось куда медленнее; после отъезда пана Михала в доме никто не бывал, и день проходил за днем в скуке и однообразии.

Пани Маковецкая поджидала мужа, считая оставшиеся до выборов дни, и только о нем и говорила; Бася приуныла. А тут еще пан Заглоба досаждал ей, уверяя, что она, дав отставку Нововойскому, теперь жалеет об этом. Бася и впрямь была бы рада даже и его визитам, но, сказав себе: «Ноги моей здесь не будет», он уехал на заставу вслед за Володыёвским.

Пан Заглоба, желая навестить пострелят, собирался к Скшетуским, но, видно, отяжелел и все откладывал отъезд, шутливо уверяя Басю, что на старости лет в нее влюбился и намерен просить ее руки. А пока довольствовался обществом Кшиси: тетушка с Басей частенько уезжали вдвоем в гости к львовской своей приятельнице. Кшисю почтенная дама при всей своей доброте не жаловала, и она оставалась дома. А случалось, и пан Заглоба, уехав с вечера в Варшаву, отводил там душу в милой его сердцу компании и возвращался домой лишь на другой день к вечеру, под хмельком, и тогда Кшися, оставшись совсем одна, размышляла на досуге то о Володыёвском, то о том, что могло бы ее ждать, если бы жребий не был брошен, а чаще всего о том, как выглядел бы неведомый соперник Михала, королевич из сказки...

Однажды, когда она сидела у окна, в задумчивости глядя на освещенную заходящим солнцем дверь, где-то неподалеку от дома вдруг послышался звон колокольчика. «Не иначе как тетушка с Басей вернулись», – промелькнуло у нее в голове, но она не двинулась с места и даже глаз не отвела от двери, а тем временем дверь отворилась, и из темной глубины навстречу девушке выступил незнакомый мужчина.

В первую минуту Кшисе показалось, что она спит или грезит наяву, столь чудную узрела она картину... Перед нею был молодой человек в черном одеянии чужеземца, с огромным белым кружевным воротником. Когда-то в детстве Кшися видела генерала коронной артиллерии пана Арцишевского, который и платьем, и благородной внешностью поразил ее воображение. Точно так же был одет и незнакомец, но только красотой своей он затмил и пана Арцишевского, и всех ступавших когда-нибудь по земле мужей. Ровно подстриженные волосы обрамляли лицо поистине редкостной красоты. Черные брови оттеняли белизну мраморного чела, глаза глядели мечтательно и грустно, свободно кудрявились светлые усы и небольшая бородка. Это было удивительное лицо, дышавшее мужеством и благородством, лицо херувима и рыцаря в равной мере. Кшися глядела, не веря глазам, и понять не могла – видит ли она сон или живой человек перед нею. А он замер – то ли впрямь удивленный, то ли из учтивости делая вид, будто изумлен красотой девушки. Наконец, шагнув вперед, он снял шляпу и стал размахивать ею, подметая перьями пол. Кшися встала, но ноги у нее подгибались, она то краснела, то бледнела и наконец закрыла глаза.

И тут прозвучал его голос, низкий и мягкий как бархат.

– Я Кетлинг оф Эльджин. Друг и товарищ пана Володыёвского по оружию. Прислуга успела доложить, что мне выпала высокая честь и великое счастье принять под своей крышей сестру и близких моего Пилада, но простите мне, о благородная панна, мою неловкость, слуги не сказали того, что видят глаза мои, а они блеска вашего вынести не могут.

Таким комплиментом приветствовал Кшисю рыцарь Кетлинг, но она не сумела ответить ему тем же, онемев от смущения. Догадалась только, что закончил он свою речь еще одним поклоном, услышав в тишине, как шелестят, коснувшись пола, перья его шляпы. Она понимала, что непременно нужно комплиментом ответить на комплимент, дабы ее не приняли за сельскую простушку, но дух у нее перехватило, в висках стучало, сердце колотилось, словно от великой усталости. Она чуть приоткрыла глаза – перед ней, склонив голову, стоял Кетлинг и глядел с нежностью и восторгом. Кшися дрожащими руками схватилась за полы платья, чтобы сделать кавалеру реверанс, но, на счастье, за дверью раздался шум и с возгласами: «Кетлинг! Кетлинг!», в комнату, пыхтя, ворвался пан Заглоба.

Они кинулись друг другу в объятия, а панна, понемногу опомнившись, украдкой поглядывала на рыцаря. Он обнимал Заглобу сердечно, но с такой благородной сдержанностью в каждом движении, какая или передается от отца к сыну, или приобретается в самом изысканном обществе, при королевских и магнатских дворах.

– Как поживаешь? – спрашивал Заглоба. – Рад тебе в твоём доме, будто в собственном. Дай на тебя взглянуть. Ха! Да ты похудел! Уж не амуры ли тому причиной? Ей-ей, похудел! Михал-то в хоругвь поехал. А ты молодец, что сюда завернул! Михал о монастыре больше не помышляет. Сестра его приехала и барышень привезла. А девки, как репки! Панна Езёрковская и панна Дрогоёвская. Батюшки, Кшися-то здесь! Прошу прощения, но ведь я правду сказал, пусть у того глаза вылезут на лоб, кто вам в красоте откажет, ну а тебя пан Кетлинг и сам видит, не слепой.

Кетлинг в третий раз склонил голову и сказал с улыбкой:

– Цейхгаузом сей дом я оставил, а нашел Олимпом, ибо, войдя, увидел богиню.

– Как поживаешь, Кетлинг?! – воскликнул пан Заглоба, не довольствуясь первым приветствием, и снова заключил рыцаря в объятия. – Это что! – продолжал он. – Ты еще гайдучка не видел. Кшися хоть куда, но и та мед, мед! Как поживаешь, Кетлинг?! Дай тебе бог здоровья. Буду говорить тебе «ты»! Ладно? Старому так сподручнее... Рад гостям, да? Перед сеймом все дворы да гостиницы забиты были, пани Маковецкая здесь обосновалась, теперь посвободней стало, и она, должно быть, дом снимет. Негоже барышням в обители холостяка оставаться, люди коситься будут, и сплетен не оберешься.

– Помилуйте! Никогда я на это не соглашусь! Володыёвский мне не просто друг, он мне названный брат, и пани Маковецкую я как сестру у себя принять готов. А вас, сударыня, молю за меня заступиться. Хотите, на колени стану.

Сказав это, Кетлинг опустил перед Кшисей на колени и прижал к губам ее руку, при этом он с мольбой смотрел ей в глаза, то весело, то с грустью, а она все заливалась румянцем, пока наконец Заглоба не сказал:

– Ай да Кетлинг. Не успел приехать, а уже на коленях. Непременно скажу об этом пани Маковецкой. За натиск хвалю! А ты, душа моя, полюбуйся, вот они, светские обычаи!..

– Светская жизнь мне неведома! – тихонько шепнула панна, смущаясь все больше.

– Могу ли я надеяться на помощь вашу? – спрашивал Кетлинг.

– Встаньте, сударь!..

– Могу ли я на вашу помощь надеяться? Я брат пана Михала. Если дом опустеет, он нам этого вовек не простит.

– Воля моя здесь ничего не значит! – отвечала, слегка опомнившись, панна Кшися. – Но вам за добрую волю вашу спасибо.

– Благодарю! – отвечал Кетлинг, поднося к губам ее руку.

– Ха! На дворе мороз, а Купидон-то голый, но, впрочем, в этом доме ему не замерзнуть! – крикнул Заглоба.

– Полно, сударь, полно! – сказала Кшися.

– Я уж вижу: от одних только вздохов скоро оттепель будет! От одних только вздохов!..

– Слава Богу, что вы, пан Заглоба, не утратили своего беззаботного нрава, – сказал Кетлинг, – веселый нрав – признак здоровья.

– И чистой совести, чистой совести! – подхватил Заглоба. – Как сказал один мудрец: «У кого свербит, тот и чешется». А у меня нигде не свербит, вот я и весел! Как живешь, Кетлинг?! О, сто тысяч басурманов! Что я вижу? Ты ведь был настоящий поляк – в рысьей шапке да с саблей, а теперь опять англичанином заделался, и ноги у тебя тонкие, как у журавля!

– Я в Курляндии был долго, там польское платье не модно, а сейчас два дня в Варшаве, у аглицкого посла гостил.

– Так ты, значит, к нам из Курляндии пожаловал?

– Да. Приемный отец мой скончался, а перед смертью там же отписал мне еще одно поместье.

– Вечная ему память! Католик он был?

– Да.

– Ну пусть это тебе утешением послужит. А нас ты ради своих курляндских владений не покинешь?

– Здесь хотел бы я жить и умереть! – ответил Кетлинг, взглянув на Кшисю.

А она молчала, опустив долу длинные ресницы.

Пани Маковецкая вернулась домой затемно, Кетлинг встречал ее почтительно, словно удельную княгиню. Она хотела было уже на другой день подыскивать себе в городе дом, но, как ни противилась, вынуждена была уступить. Рыцарь на коленях так долго ее молил, ссылаясь при этом на братство свое с Володыёвским, что она сдалась. Решено было, что и пан Заглоба погостит еще: столь почтенный муж в доме – лучшая защита от злословья. Да он и сам рад был остаться, потому что от всей души привязался к гайдучку и лелеял тайные планы, для коих его глаз был нужен. И барышни повеселели, а Бася сразу же открыто приняла сторону Кетлинга.

– Сегодня выбираться поздно, а где сутки, там и неделя!

Ей, как и Кшисе, Кетлинг понравился, он всегда женщинам нравился, а Бася к тому же до сей поры никогда еще не видела иноземного рыцаря, если не считать офицеров наемной пехоты, людей и попроще, и менее знатных; она ходила вокруг него, раздувая ноздри, потряхивая светлыми вихрами, и глаза ее светились детским любопытством, таким откровенным, что пани Маковецкая украдкой одернула ее. Но Бася все равно не сводила с него глаз, словно прикидывая, каков-то он на войне будет, и наконец, не удержавшись, подошла к пану Заглобе.

– А хороший ли он солдат? – спросила она потихоньку старого шляхтича.

– Лучше не придумаешь. Видишь ли, опыт у него великий, с четырнадцати лет служил королю, против англичан за праведную веру выступая. Знатный дворянин, что и по манерам его лицезреть можно.

– А вы, ваша милость, видели его в бою?

– Тысячу раз... Стоит – не дрогнет, коня по холке треплет и о нежных чувствах говорить готов.

– Это что, мода такая, говорить о чувствах?

– Все модно, что небрежение к пулям подтверждает.

– Ну а в рукопашной, в поединке он каков?

– Ого-го! Увертлив как бес, тут и говорить не о чем!

– А против пана Михала устоит?

– Нет, супротив Михала он пас!

– Ага! – воскликнула Бася торжествующе. – Я так и знала! Сразу подумала – пас! – И захлопала в ладоши.

– Стало быть, ты сторону Михала держишь? – спросил пан Заглоба.

Бася тряхнула головой и умолкла: и только из груди ее вырвался глубокий вздох.

– Эх, да что там! Рада, потому что наш!

– Но заметь, гайдучок, и заруби себе на носу, если на поле брани лучшего солдата трудно найти, то для женских сердец он еще более *periculosus*<sup>44</sup>: ни одна перед ним не устоит! Купидон у него на посылках.

– А вы об этом Кшисе скажите, мне материя эта незнакома, – сказала Бася и, обернувшись к панне Дрогоёвской, позвала:

– Кшися! Кшися! Иди сюда, я что-то тебе скажу!

– Вот я! – отвечала панна Дрогоёвская.

– Пан Заглоба говорит, что ни одна особа перед Кетлингом не устоит, глядеть на него опасно. Я смотрю, и как будто бы ничего, а ты?

– Бася! Бася! – строго, словно читая мораль, произнесла Кшися.

– Признавайся, нравится он тебе?

– Опомнись! Знай меру! И не болтай всякий вздор, пан Кетлинг идет сюда.

Кшися не успела еще и сесть, как Кетлинг приблизился и спросил:

– Смею ли я сим славным обществом насладиться?

– Милости просим! – отвечала панна Езёрковская.

– Тогда спрошу смелее – о чем шла речь?

– О любви! – выпалила не задумываясь Бася.

Кетлинг сел рядом с Кшисей. Минуту они молчали, потому что Кшися, обычно умевшая поддержать беседу и светский тон, в присутствии этого рыцаря как-то странно робела. Наконец он сказал:

– Правда ли, разговор шел о столь возвышенном предмете?..

– Да! – тихим голосом отвечала панна Дрогоёвская.

– Я был бы счастлив услышать ваши мысли на сей счет, сударыня.

– Простите, сударь, мне и смелости, и ума на такой ответ не хватит. Тут, пожалуй, за вами первое слово.

– Кшися права! – вмешался Заглоба. – Говори же!..

– Ну что же, спрашивайте, сударыня! – отвечал Кетлинг.

Он устремил взор к небесам, задумался, а потом, не дожидаясь вопросов, заговорил тихо, словно сам с собою беседуя:

– Любовь – тяжкое бремя: свободного она делает рабом. Как птица, пронзенная стрелой, падает к ногам охотника, так и человек, сраженный любовью, припадает к стопам любимой. Любовь – это увечье, человек как слепец, кроме нее ничего вокруг не видит...

Любовь – это грусть, ведь когда еще мы проливаем столько слез и вздыхаем так тяжело? Кто полюбил, тому на ум нейдут ни наряды, ни танцы, ни охота, ни игра в кости; он часами сидит, обняв колени, и тоскует так тяжело, будто близкого друга лишился.

Любовь – это болезнь, ведь влюбленный бледен лицом, под глазами у него тени, в руках дрожь, он худ, помышляет о смерти или бродит как безумный, с нечесаными кудрями, сто раз на песке милое имя пишет, а когда имя сдует ветер, говорит: «Несчастье!..» и заплакать готов...

Тут Кетлинг на мгновенье умолк. Кто-нибудь сказал бы, что он погрузился в раздумья. Кшися слушала его слова как музыку, всей душой. Ее оттененные темным пушком губы были приоткрыты, а очи устремлены на рыцаря. Волосы лезли Баське на глаза, трудно было догадаться, о чем она думает; но она тоже молчала.

Вдруг пан Заглоба громко зевнул, засопев, вытянул ноги и сказал:

– Из такой любви шубы не сошьешь!..

– И все же, – продолжал снова рыцарь, – хотя любить тяжкий труд, без любви еще тяжелее на свете, что тому роскошь, слава, богатства, драгоценности или благовония, кто любви лишился? Кто из нас не скажет своей любимой: «Ты мне дороже целого королевства, дороже,

<sup>44</sup> опасен (лат.).

чем скипетр, здоровья и долголетия дороже...» Влюбленный рад был бы жизнь отдать за свою любовь, а стало быть, любовь дороже жизни.

Кетлинг умолк.

Барышни сидели рядышком, дивясь и его пылкости, и умелому красноречию, искусству столь чуждому польским воякам. Даже пан Заглоба, который под конец вроде бы задремал, вдруг встрепенулся и, моргая, стал поглядывать то на девиц, то на Кетлинга и наконец, проснувшись окончательно, громко спросил:

– О чем беседа?

– Хочу сказать вам спокойной ночи! – отвечала Бася.

– Ага! Вспомнил: рассуждали об амурах. И к чему пришли?

– Отделка богаче плаща оказалась.

– Еще бы! А меня сон одолел. А может, и жалобы эти: мечтанья, стенанья, вздыханья.

А я возьми да и придумай для складу – засыпанье. И мое слово самое верное, потому что час поздний. Спокойной ночи честной компании, и не докучайте мне больше своими амурами... Боже, Боже! Кот мяучит, пока шкварки не съест, а потом знай сидит да облизывается... И я в свое время был вылитый Кетлинг, а влюблялся так страстно, что себя не помнил, баран мог бы меня под зад рогами поддать, я бы и не заметил. Но на склоне лет мне всего милее добрый сон, особенно если обходительный хозяин не только до постели проводит, но и напоит так, чтоб голова сама клонилась к подушке.

– Рад служить вашей милости! – сказал Кетлинг.

– Пойдем, пойдем. Смотрите, вон как месяц-то высоко. К погоде: небо чистое, светло как днем! Кетлинг об амурах всю ночь готов рассуждать, но только не забывайте, козочки, он приотмился с дороги.

– О нет, я ничуть не устал, в городе отдыхал два дня. Боюсь, панны слушать меня устали.

– Слушая вас, не заметишь, как ночь миновала, – сказала Кшися.

– Нет ночи там, где солнце светит, – отвечал Кетлинг.

Тут они расстались – ведь и правда давно наступила ночь. Опочивальня у девиц была одна, и они, как водится, подолгу болтали перед сном, но на сей раз Басе не удалось разговорить Кшисю, потому что насколько одной хотелось поговорить, настолько другая была молчалива, на все вопросы отвечала вполслова – да, нет. И каждый раз, когда Бася заводила речь о Кетлинге, смешно изображая его, Кшися нежно обнимала ее за шею, умоляя оставить насмешки.

– Он хозяин этого дома, – говорила Кшися, – он приютил нас... и тебя отметил и полюбил сразу...

– Неужто? – спрашивала Бася.

– Разве можно тебя не любить, – отвечала Кшися. – Все тебя любят, и я, я тоже...

С этими словами она приближала чудное лицо свое к Басиному лицу, терлась щекой об ее щеку, целовала ей очи.

Наконец они угомонились, но Кшися долго не могла уснуть. Какая-то тревога томила ее душу. Сердце начинало вдруг биться так часто, что она прижимала руки к нежным своим персям, лишь бы унять его биение. Стоило ей закрыть глаза – в каком-то чудном сне, прекрасное лицо склонялось над ней, и тихий голос шептал: «Ты мне дороже целого королевства, дороже, чем скипетр, здоровье и долголетье, жизни самой дороже!»

## Глава XII

Спустя несколько дней пан Заглоба писал Скшетускому письмо, заключив его такими словами:

«А ежели я до коронации к вам выбраться не сумею, не дивитесь. Не мое к вам пренебрежение тому причина, но суть в том, что дьявол не дремлет, а я не хочу, чтобы он пташку из моих рук спугнул и неведомо что подсунил. Худо будет, коли Михалу к его приезду не смогу я сказать: «Эта-де просватана, а гайдучок *vasat*<sup>45</sup>. На все воля Божья, но полагаю, что, узнав такую новость, Михал не станет упираться, и все без особых *praeparationes*<sup>46</sup> уладится, так что приедете к свадьбе. А пока, вспомнив Улисса, придется мне прибегнуть к кое-каким уловкам, вести интригу, хоть и нелегко мне это, ибо всю жизнь правда была мне хлебом насущным, и ею я весь век бы кормился. Но ради Михала и любимого моего гайдучка я готов взять на душу грех, оба они – чистое золото. За сим обнимаю вас вместе с пострелятами и к сердцу прижимаю, всевышнему и его милости препоручая».

Покончив с писаниной, пан Заглоба присыпал лист песком, ударил по нему ладонью и, отставив подальше от глаз, перечел еще раз, после чего сложил, снял с пальца перстень с печаткой, посплюнул на нее и хотел было уже письмо запечатать, но в этом ему помешал своим приходом Кетлинг.

– Добрый день, ваша милость!

– Добрый день, день добрый! – ответил Заглоба. – Погода, слава Богу, отменная, а я гонца к Скшетуским послать собрался.

– И от меня поклон передайте.

– Так я и сделал. Непременно, подумал я, от Кетлинга поклон передать надо. Пусть доброй вести возрадуются. Да и как не передать поклон, коли я про тебя да про барышень целое послание сочинил.

– С чего бы это вдруг, ваша милость? – спросил Кетлинг.

Заглоба, сложив руки на коленях, долго перебирал пальцами, а потом, склонив голову, посмотрел на Кетлинга из-под нахмуренных бровей и сказал:

– Друг Кетлинг, не надо быть пророком, чтобы предвидеть, что там, где есть кремь и огниво, раньше или позже посыплются искры. Сам ты мужчина видный, но и девам, должно быть, в красоте не откажешь.

Кетлинг смутился.

– Слепцом я быть должен или варваром последним, чтобы красы их не почитать и не отметить!

– Вот видишь! – сказал в ответ Заглоба, с улыбкой глядя на красного от смущения Кетлинга. – Только ежели ты не варвар, то знай, за двумя сразу приударять негоже, так только турки делают.

– Какие у вас, сударь, для таких рассуждений резоны?

– А я безо всяких резонов, так, про себя размышляю. Ха! Ну и хитрец! Столько им наплел про амурь, что Кшися третий день сама не своя ходит, будто ее опоили. Гм! Да и не диво! Помнится, я в молодые годы тоже часами простаивал под окнами у одной черноглазой панны (она на Кшисю была похожа), на лютне брэнчал и пел:

Ты в постели сладко дремлешь  
И моей игре не внимлешь.

---

<sup>45</sup> свободен (лат.).

<sup>46</sup> приготовлений (лат.).

Ля! Ля!

Хочешь, я тебе эту песню взаймы дам, а нет – новую сочиню, мне талантов не занимать! А заметил ли ты, что панна Дрогоёвская давнишнюю Оленьку Биллевич напоминает, только у той волосы как конопля и пушка над губкой нет, а впрочем, именно это для многих милой приманкой служит. Очень уж томно она на тебя поглядывает. И об этом я написал Скшетуским. Скажи, разве неправда, что она на панну Биллевич смахивает?

– Признаться, я этого сходства не заметил, но, пожалуй... Рост, осанка...

– А теперь слушай, что я тебе скажу, фамильные асапа<sup>47</sup> открою, а впрочем, раз ты друг, так знай: как бы ты Володыёвскому злом за добро не отплатил – ведь мы с пани Маковецкой одну из этих дев для него приберегаем.

Тут пан Заглоба метнул на Кетлинга пронизательный взгляд, а тот, побледнев, спросил:

– Которую?

– Дро-го-ёв-скую, – медленно, по складам сказал Заглоба.

И, выпятив вперед нижнюю губу, насупил брови, подмигнув здоровым глазом.

Кетлинг молчал, и молчал так долго, что Заглоба наконец, не выдержав, спросил:

– Ну и что же ты скажешь на это? А?

Голос у Кетлинга дрожал, но он отвечал без колебаний:

– Не сомневайтесь, ваша милость, ради Михала я ко всему готов и поблажки себе не дам.

– Правду говоришь?

– В жизни своей я повидал немало, и честью клянусь – не дам воли!

Тут пан Заглоба раскрыл ему объятия.

– Кетлинг! Дай себе поблажку, дай, коли желаешь, ведь я тебя испытать хотел. Не Дрогоёвскую, а гайдучка мы для Михала предназначаем.

Лицо Кетлинга осветилось открытой и неподдельной радостью, он долго обнимал пана Заглобу и наконец спросил:

– Они и впрямь любят друг друга?

– А кто, скажи, не полюбил бы моего гайдучка, кто? – отвечал Заглоба.

– И помолвка была?

– Помолвки не было, у Михала старые раны еще не зарубцевались, но будет, будет помолвка. Предоставь это мне! Барышня хоть и своенравна, как ласочка, однако слабость к нему питает, сабля для нее все...

– Я это сразу заметил, ей-богу! – воскликнул повеселевший Кетлинг.

– Гм! Заметил. У Михала еще слезы по покойной не высохли, но уж если кто и придется ему по душе, так непременно наш гайдучок, она и с невестой его сходство имеет, только глазами не так стреляет, потому как моложе. Все складывается отлично, верно? Помяни мое слово – коронация не за горами, а тут и две свадьбы!

Кетлинг, не говоря ни слова, облобызал пана Заглобу и, приложившись щекой к его пылающим щекам, так долго не выпускал его из объятий, пока наконец старый шляхтич, засопев, не спросил:

– Неужто Дрогоёвская так тебе в душу запала?

– Ах, этого я и сам не ведаю, – отвечал Кетлинг, – знаю только, что едва мы встретились и неземная краса ее утешила мой взор, я сказал себе – вот она, только ее скорбящее сердце мое полюбить в состоянии, и той же ночью, вздохами сон отогнав, отдался я сладостным грезам. С тех пор она ни из памяти, ни из мыслей моих не уходит и так душой моей завладела, как королева вверенным и верным ей государством. Любовь ли это или что другое – не знаю.

<sup>47</sup> секреты (лат.).

– Но знаешь точно, что это не шапка, не три локтя сукна на штаны, не подпруга, не шлея, не яичница с колбасой, не фляжка с водой. Если ты в этом уверен, то об остальном спрашивай у Кшиси, а не хочешь – сам спрошу.

– Не делайте этого, ваша милость, – отвечал с улыбкою Кетлинг. – Если суждено мне утонуть, то пусть хоть два дня поживу я с мыслью, что плыву.

– Шотландцы, как я погляжу, вояки отменные, но в любовной науке смыслят мало. Когда дело имеешь с женщиной, тут тоже военный натиск нужен. *Veni, vidi, vici*<sup>48</sup> – таков был мой девиз...

– Если б моим мечтаниям суждено было бы сбыться, – сказал Кетлинг, – я просил бы вас о дружеской *auxilium*<sup>49</sup>. Хоть мне и дворянский титул присвоен, и благородная кровь течет в моих жилах, но все же имя мое тут неизвестно, и не знаю, согласится ли пани Маковецкая...

– Пани Маковецкая? – перебил его Заглоба. – Это уж не твоя печаль. Она как музыкальная табакерка, как заведешь, так и сыграет. Я сейчас к ней пойду. Надо ее загодя предупредить, чтобы на твои маневры не смотрела косо, тем паче что вы и ухаживаете как-то чудно, не по-нашему. От твоего имени говорить я не стану, намекну только, что дева тебе по душе пришлась и недурно было бы из этой муки и хлеба испечь. Сей же час пойду, а ты не празднуй труса, мне все говорить дозволено.

И как Кетлинг ни удерживал его, пан Заглоба тут же встал и вышел.

По дороге ему попала как всегда бежавшая со всех ног Бася, и он ей сказал:

– А знаешь, Кетлинг из-за Кшиси совсем голову потерял.

– Не он первый, – отвечала Бася.

– А тебе не завидно?

– Кетлинг – кукла! Учтивый кавалер, но кукла. А я коленку об дышло ударила, вот!

Тут Бася нагнулась и принялась растирать колено, одновременно поглядывая при этом на пана Заглобу.

– О Боже, будь осторожней! Куда ты так мчишься?

– Кшисю ищу.

– А что она поделывает?

– Она? Целует меня беспрестанно и ластится, будто кот.

– Смотри не говори ей, что Кетлинг голову потерял.

– Угу! Не скажу!

Пан Заглоба отлично знал, что Бася не в силах будет сдержать слово, оттого-то и придумал такой запрет.

Он поспешил дальше, чрезвычайно радуясь своей хитрости, а Бася словно бомба влетела к панне Дрогоёвской.

– Я ушибла колено, а Кетлинг голову потерял! – закричала она еще с порога. – Не заметила в каретном сарае дышла... и бах! В голове зашумело, но ничего, пройдет! Пан Заглоба просил про Кетлинга не рассказывать. Говорила я, так и будет? Сразу сказала, а ты, верно, сглазить боялась. Я-то тебя знаю. Полегчало, но болит еще! Я про пана Нововойского никаких намеков не делала, он на тебя не глядел, а Кетлинг – ого-го! Бродит по дому, за голову держится и сам с собой разговаривает: люблю тебя, в карете и пешком...

Бася лукаво погрозила ей пальчиком.

– Бася! – крикнула Дрогоёвская.

– И на щите и под щитом...

– Боже мой, Боже, до чего же я несчастна! – воскликнула вдруг Кшися и залилась слезами.

<sup>48</sup> Пришел, увидел, победил (*лат.*).

<sup>49</sup> помощи (*лат.*).

Бася принялась ее утешать, но, увы, тщетно, Кшися впервые в жизни так безутешно рыдала.

Ни одна душа в этом доме не знала о том, что она и впрямь несчастна. Несколько дней была как в лихорадке – побледнела, осунулась, грудь ее вздымалась от тяжких вздохов, с ней творилось что-то необъяснимое; казалось, тяжкая болезнь настигла ее не исподволь, украдкой, а сразу, налетела как вихрь или ураган, воспламенила кровь, поразила воображение. Она ни минуты не могла сопротивляться этой силе, такой внезапной и беспощадной. Спокойствие оставило ее. Воля была подобна птице с подбитым крылом...

Кшися и сама не знала, любит она Кетлинга или ненавидит, и страх охватывал ее, когда она себя об этом спрашивала; знала только, что из-за него так сильно бьется сердце и все помыслы только о нем, что он всюду в ней, с ней, над нею. И не найти от этого защиты! Легче не любить его, чем заставить себя о нем не думать; вот он стоит перед глазами, в ушах звучит его голос, им наполнена душа... И сон не приносил избавления от непрошеного гостя. Стоило ей закрыть глаза, как тут же являлся он, шепча: «Ты мне дороже целого королевства, дороже, чем скипетр, слава, богатство...» И лицо его склонялось так низко, что щеки девушки полыхали жгучим румянцем. Это была русинка с пылкой душой, неведомый ей прежде огонь, о котором она и не подозревала, разгорался все сильнее в ее груди, страх, стыд и какое-то невольное, но милое сердцу томление одолевали ее. Ночь не приносила покоя. Она чувствовала себя разбитой, словно от тяжких трудов.

«Кшися! Кшися, опомнись! Что с тобой?!» – говорила она себе. И снова забывала обо всем как одурманенная.

Ничего еще не случилось, они с Кетлингом друг другу не сказали наедине и двух слов, но, хотя она только и думала о нем, неведомый голос подсказывал ей: «Опомнись, Кшися! Сторонись, избегай его!..» И она избегала...

О своем сговоре с Володыёвским Кшися, к счастью для себя, не вспоминала; не вспоминала потому, что все оставалось по-прежнему, и она не думала ни о ком, ни о себе, ни о других, ни о ком, кроме Кетлинга!

Девушка скрывала от всех свои чувства, и мысль, что никто не догадывается о них, никто не думает о них с Кетлингом, не ставит их имена рядом, приносила ей облегчение. Неожиданно слова Баси убедили ее в другом, что люди на них смотрят, объединяют их в мыслях и тайное угадать готовы. Смущение, стыд и боль, слившись воедино, оказались сильнее ее, и она плакалась, как дитя.

Слова Баси были только началом – тут-то и последовали многочисленные намеки, понимающие взгляды, подмигиванья, кивки и наконец, ранящие слова. Началось все это тотчас же за обедом. Тетушка перевела взгляд с Кетлинга на нее, с нее на Кетлинга, чего не делала прежде. Пан Заглоба многозначительно кашлянул. Иногда вдруг разговор прерывался неизвестно почему, воцарялось молчание, и во время одной из таких пауз взволнованная Бася крикнула через стол:

– А я что знаю! Но никому не скажу!

Кшися тотчас же залилась румянцем, потом побледнела, будто в смертельном испуге. Кетлинг тоже опустил голову. Они знали, что это на них направлено, и хотя пока словом не перемолвились, а Кшися старалась на Кетлинга не глядеть, чудилось им, что какая-то новая близость установилась между ними, некая общность смущения, которое и притягивало их, и отчуждало, потому что они утратили свободу и простоту прежнего своего дружества. К счастью, никто не обратил на Басины слова внимания, пан Заглоба собирался в город, чтобы привести оттуда дружину рыцарей, и разговоры шли только об этом.

Вечером в зале загорелись огни, приехала добрая дюжина военных и музыканты, приглашенные хозяином для увеселения дам. По случаю великого поста и Кетлингова траура от танцев пришлось воздержаться, довольствовались беседой и музыкой. Дамы были в изысканных

туалетах. Пани Маковецкая выступала в восточных шелках; гайдучок в ярком наряде невольно приковывал взоры своим румяным лицом и светлыми, то и дело спадавшими на лоб вихрами, вызывая смех бойкостью речей и удивляя манерами, в коих казацкая удаль сочеталась с неуловимым кокетством.

Кшися, у которой траур по покойному батюшке подходил к концу, явилась в платье из серебряной парчи. Рыцари сравнивали ее кто с Юноной, кто с Дианой, но никто не подходил к ней слишком близко, не подкручивал ус, не шаркал ножкой, не бросал влюбленных взглядов, не заводил разговора о чувствах. Напротив, она заметила, что те, кто с восхищением смотрел на нее, тут же переводили взгляд на Кетлинга, а некоторые подходили к нему и пожимали руку, словно бы поздравляя, а он только руками разводил, словно отнекиваясь.

Кшися, с ее чувствительным сердцем и проницательностью, была почти уверена, что Кетлингу говорят о ней, быть может и невестою называя. А так как она ведать не ведала, что пан Заглоба успел каждому шепнуть словцо, ей было невдомек, откуда берутся догадки.

«Разве у меня на лбу что написано?» – думала она в тревоге, смущенная и озабоченная.

А тут стали доноситься до нее и слова, вроде бы и не к ней обращенные, но вслух сказанные: «Кетлинг-то счастливчик!», «В сорочке родился...», «Да и сам недурен, чему удивляться...» – и тому подобное.

А иные из рыцарей, стараясь быть учтивей, развеселить и порадовать ее, беседовали с ней о Кетлинге, превознося его мужество, светское воспитание, манеры, древний род. Кшисе невольно приходилось выслушивать все это, и глаза ее сами искали того, о ком шла речь, а иногда и встречались с его глазами, и она глядела на него как замороженная, не в силах отвести взгляда. Как же отличался Кетлинг от всех этих грубоватых простаков! «Королевич со свитой», – думала Кшися, глядя на его благородное, аристократическое лицо, глаза, постоянно исполненные грусти, на лоб, оттененный светлыми кудрявыми волосами. Сердце у Кшиси замирало, и казалось ей, что дороже этого лица нет для нее ничего на свете. А Кетлинг, угадывая Кшисино смущение, подходил к ней лишь в те редкие мгновения, когда возле нее находился кто-то другой. И королева едва ли удостоилась бы больших почестей. Обращаясь к ней, Кетлинг склонял голову в поклоне и отступал назад в знак того, что в любую минуту готов пасть перед ней на колени; беседовал без тени улыбки, хотя с Басей был не прочь порой и пошутить. В разговоре его с Кшисей, весьма изысканном, всегда был оттенок какой-то сладостной грусти. Его почтительность защищала ее и от слишком откровенных слов, и от намеков, как будто бы всем передано убеждение, что эта панна знатностью и благородством превосходит всех и в обхождении с ней особый политес нужен. В глубине души Кшися была ему за это благодарна. Вечер, несмотря на все тревоги, был для нее отраден.

Близилась полночь, музыканты устали, дамы, простившись, вышли, а меж оставшихся на пиру рыцарей пошли по кругу кубки. В веселом этом застолье предводительствовал Заглоба – гетман, да и только.

Баська, повеселившись от души, поднялась вверх беспечная как дрозд и перед вечерней молитвой болтала без умолку, передразнивая гостей. А потом, хлопнув в ладоши, воскликнула:

– Ай да Кетлинг, молодец, что приехал! Теперь-то в доме военных довольно! Вот кончится пост, а там пойдут балы да веселье. Будем танцевать до упаду. И на помолвке вашей, и на свадьбе! Все вверх дном перевернем, вот увидишь! Пусть меня татарва в полон уведет, коли не так. А вдруг и правда уведет? Ох, что бы было! Милый Кетлинг! Он для тебя музыкантов созовет, но и я повеселюсь на славу. А он будет придумывать все новые чудеса, пока наконец не сделает так...

Тут Бася бухнулась перед Кшисей на колени и, заключив ее в свои объятия, сказала басом, подражая голосу Кетлинга:

– Обожаю тебя, душа моя! Жить без тебя не могу... Люблю тебя в карете и пешком, и на щите и под щитом, и натошак и после обеда, и на веки веков, и по-шотландски... Хочешь ли быть моею?..

– Полно, Бася, не серди меня! – воскликнула Кшися.

Но она и не думала сердиться, а крепко обняла Басю, словно пытаясь ее приподнять, и долго-долго целовала ей глаза.

## Глава XIII

Разумеется, пан Заглоба отлично видел, что маленький рыцарь влюбился в Кшисию, и потому-то и пустился на хитрость. Зная натуру Володыёвского, он нисколько не сомневался, что, коль скоро не останется выбора, пан Михал непременно вспомнит про Басю, которую старик любил, будто родную дочь, и только диву давался, как можно выбрать другую. Он искренне считал, что, способствуя женитьбе Михала на своей любимице, оказывает ему великую услугу; при одной только мысли об этой паре у него лицо расплывалось в улыбке. Он сердился на Володыёвского, зол был и на Кшисию, полагая, впрочем, что уж лучше пану Михалу на ней жениться, чем остаться бобылем, но пока только и думал о том, как бы сосватать за него гайдучка.

Вот потому-то, зная, что маленький рыцарь питает слабость к Дрогоёвской, он решил поскорее сделать из нее госпожу Кетлинг. Однако письмо, что получил он недели через две от Скшетуского, было для него как ушат холодной воды.

Скшетуский советовал ему держаться в стороне, чтобы друзей не посорить. Разумеется, ссоры этой Заглоба не желал и, пытаясь заглушить укоры совести, утешал себя такими словами:

– Ежели бы у Кшиси с Михалом уговор был, а я бы Кетлинга меж ними как клин вбивал, тогда бы дело иное. Помнится, еще царь Соломон сказывал, не твоя печаль, кому детей качать, и он прав. Но в своих желаниях каждый волен. А впрочем, по совести говоря, что я такого сделал? Пусть мне скажут – что?

Задав такой вопрос, Заглоба подбоченился и, оттопырив нижнюю губу, окинул стены вызывающим взглядом, словно от них дожидаясь упрёка, но стены молчали, и он продолжал дальше:

– Кетлингу я сказал, что гайдучка мы для Михала приберегаем. Отчего же мне было это не сказать? Или это неправда? Пусть паралич меня хватит, коли я Михалу другой невесты желаю.

Стены молчанием подтвердили справедливость его слов.

И он продолжал:

– Гайдучку я сказал, что Кшися Кетлинга в полон захватила, разве это неправда? Разве он сам не признался в этом, здесь у печки сидя и вздыхая часами, да так, что пепел во все стороны разлетался? А я видел это и другим передал. У Скшетуского ум трезвый, да ведь и я в темя не бит. Знаю, где сказать, а где и промолчать следует. Гм... Пишет, твое дело сторона. Может, оно и так. Вот останемся мы в гостинной сам-третьей: я да Кетлинг с Кшисей, а я возьму и выйду. Заметят ли, вспомнят ли, что меня нет? А впрочем, он с нею и себя не помнит, и меня не вспомнит. Они и не видят-то никого, так их тянет друг к другу. А тут и весна на носу, когда не только солнце, но и все желания припекают... Ладно, мое дело сторона, поглядим, каковы-то будут последствия.

И последствия не заставили себя долго ждать. Перед страстной неделей все общество перебралось из дома Кетлинга в Варшаву, в гостиницу на улице Длугой, чтобы побывать на службе во всех костелах, а заодно на праздничную сутолоку поглазеть.

Кетлинг и тут держался гостеприимным хозяином, хоть и чужеземец, он лучше других знал Варшаву, всюду у него были люди, готовые оказать услугу. Он был необычайно предупредителен и, казалось, угадывал чужие желания, в особенности Кшисины. Трудно его было не любить. Пани Маковецкая, помня наказания Заглобы, поглядывала на них с Кшисей все благосклоннее, а если до сей поры не сказала о нем ни слова, то лишь потому, что и Кетлинг молчал. Впрочем, почтенная «тетенька» не видела ничего предосудительного в том, что рыцарь так верно служит ее племяннице, тем паче рыцарь столь знаменитый, получавший знаки внимания не только от слуг, но и от знати, так умел он привлечь всех своей и впрямь необычной красотой, щедростью, обходительностью, кротостью с друзьями, мужеством на поле брани.

«Положусь на волю Божью, а там уж как муж скажет, но я им мешать не стану», – думала про себя пани Маковецкая.

Так она порешила, и теперь Кетлинг чаще виделся с Кшисей, проводя в ее обществе почти весь день. Впрочем, из дому выходили все вместе. Заглоба брал под руку пани Маковецкую, Кетлинг – Кшисю, а Бася, самая юная, шла сама по себе, то забегая вперед, то останавливаясь в торговых рядах – поглядеть на товары и диковинки заморские, каких она до сей поры и не видывала. Кшися понемногу привыкла к Кетлингу, и теперь, когда она шла, опираясь на его руку, ловя каждое его слово и вглядываясь в черты его, сердце ее билось ровно, не робость испытывала она, не стеснение, а ни с чем не сравнимую радость и блаженство. Они почти не расставались: вместе преклоняли колени в костелах, их голоса звучали слитно в молитвах и божественных песнопениях.

Для Кетлинга чувства его не были загадкой; Кшися то ли из робости, то ли пытаясь сама себя обмануть, еще не сказала себе: «Люблю его», но меж тем они любили друг друга все сильнее.

Их сближало еще и дружество, и некое родственное чувство, но о любви не было сказано ни слова, и поэтому день за днем проходили как в сладком сне, и ничто не нарушало их согласия. Впрочем, черные тучи раскаяния уже сгущались над Кшисей, но пока затишье не кончилось. Теперь, когда, ближе узнав Кетлинга, она перестала дичиться, дружество, расцветшее под сенью любви, принесло успокоение и мир в ее душу, голова не шла кругом, волнение в крови улеглось. Они были вместе, им было легко и отрадно, но Кшися, всей душой отдавшись этой радости, не думала над тем, что вот-вот счастье ее кончится и для этого довольно, чтобы Кетлинг сказал одно только слово – «люблю».

Вскоре слово это было сказано. Однажды, когда пани Маковецкая вместе с Басей были в гостях у больной кумы, Кетлинг уговорил Кшисю и пана Заглобу пойти в королевский замок, которого Кшися никогда еще не видела и о котором люди повсюду рассказывали всякие чудеса. Отправились втроем. Щедрость Кетлинга открыла перед ними все двери, и слуги встречали Кшисю такими низкими поклонами, словно бы она была королевой, посетившей свои владения. Кетлинг, который отлично знал замок, водил ее по пышным залам и покоям. Они поглядели на театр, на королевские бани, постояли перед картинами, на которых изображались битвы и победы королей Сигизмунда и Владислава над восточными ордами; вышли на террасы полюбоваться видом. Кшися не могла опомниться от удивления. Кетлинг показывал ей всякие различия, а иногда умолкал и, глядя в ее темно-голубые глаза, казалось, говорил: «Что за дело мне до этих чудес, когда ты со мной, мое чудо! И до сокровищ этих, когда ты рядом со мной, мое сокровище».

Девушка внимала этим безмолвным речам. А он, войдя с ней в один из королевских покоев, остановился у закрытых дверей и сказал:

– Отсюда и до алтаря недалеко. Переход почти к самому клиросу ведет. Там король с королевой обычно слушают мессу.

– Я дорогу туда хорошо знаю, – вставил словечко Заглоба, – с Яном Казимиром я накоротке был, случалось, и Мария Людвики ко мне благоволила, тогда они и меня приглашали послушать мессу, дабы в обществе моем побыть и набожностью моей укрепить дух свой.

– Не желаете ли пойти взглянуть, сударыня? – спросил Кетлинг, делая слуге знак, чтобы отворил двери.

– Пойдемте, – отвечала Кшися.

– Ступайте без меня, – сказал пан Заглоба, – ноги у вас молодые, не болят, а я на своем веку, слава Богу, натоптался довольно. Ступайте, ступайте, а уж я здесь с человеком останусь. Если вы и по две молитвы прочтете, все равно не буду в обиде, отдохну малость.

И они пошли.

Кетлинг взял Кшисию за руку и повел по длинному переходу. Руки ее он не прижимал к сердцу, шел сосредоточенный и спокойный. Иногда вдруг силуэты их освещались боковыми окошками, а потом снова погружались в темноту. Сердце у Кшиси билось чуть чаще обычного, потому что они впервые оказались наедине, но спокойствие и кротость Кетлинга понемногу передались ей. Наконец они поднялись на клирос, что был справа, тут же за скамьями, неподалеку от большого алтаря.

Они опустились на колени и начали молиться. В костеле было тихо и пусто. Перед большим алтарем горели две свечи, но в глубине костела царил торжественный полумрак. Только сквозь разноцветные стекла проникал свет, радужные его блики освещали их спокойные, сосредоточенные на молитве, ангельски прекрасные лица.

Кетлинг первым поднялся с колен и, не смея нарушать тишины в костеле, заговорил шепотом:

– Посмотрите на эту бархатную спинку, на ней вмятины от голов – здесь сживали король с королевой. Королева всегда сидела с той стороны, поближе к алтарю. Отдохните немного на ее месте...

– Правда ли, что она всю жизнь была несчастлива? – усаживаясь, шепнула Кшися.

– Я слышал эту историю еще ребенком, ее сказывали во всех рыцарских замках. Может быть, она и в самом деле была несчастлива, не могла выйти замуж за того, кому отдала свое сердце.

Кшися откинулась, касаясь головой углубления, оставшегося на память о сидевшей здесь когда-то Марии Людвике. Она закрыла глаза; какое-то мучительное чувство сжимало грудь, холодом повеяло от пустой ниши, покой, еще минуту назад переполнявший ее, сменился ледяющим душу оцепенением. Кетлинг молча смотрел на нее, тишина казалась замогильной.

Мгновенье спустя Кетлинг стал перед Кшисей на колени и заговорил с жаром, уже не робея:

– В том нет греха, что здесь, в святом этом месте, я стою перед тобой на коленях, ведь разве не сюда, в костел, приходит за благословением чистая любовь. Ты мне дороже здоровья, дороже всех земных благ, я люблю тебя всей душой, всем сердцем и здесь перед этим алтарем в своей любви перед тобой открываюсь!..

Лицо Кшиси стало вдруг смертельно-бледным. Несчастливая девушка по-прежнему сидела, откинувшись на бархатную спинку, никак не отзываясь на слова Кетлинга, а он продолжал дальше:

– Обнимаю ноги твои и на коленях жду твоего приговора, с чем я отсюда уйду – в радости ли великой или в великой печали, какую сердцу моему вынести не под силу?

Минуту он ждал ответа Кшиси и, не дождавшись, склонился так низко, что едва не коснулся головой ее ног; должно быть, он уже не мог скрыть своего волнения, голос у него дрожал, казалось, еще немного, и он задохнется.

– В твои руки отдаю я свое счастье и свою жизнь. О снисхождении молю, потому что тяжело мне безмерно...

– Будем просить милосердия Божьего! – падая на колени, неожиданно воскликнула Кшися.

Кетлинг не ждал этого, но не смел ее желанию противоречить. С надеждой и тревогой в сердце он стал на колени рядом с девушкой, и они снова принялись молиться.

Под сводами пустого костела голоса их, подхваченные эхом, звучали скорбно и жутковато.

– Боже, смилуйся над нами! – воскликнула Кшися.

– Боже, смилуйся над нами! – вторил ей Кетлинг.

– Смилуйся над нами!

– Смилуйся!

Теперь Кшися молилась чуть слышно, но Кетлинг видел, что девушка содрогается от рыданий. Она все никак не могла успокоиться, потом, опомнившись, долго еще неподвижно стояла на коленях, наконец поднялась и сказала:

– Пойдемте...

И они снова долго шли узким переходом. Кетлинг надеялся, что сейчас здесь услышит от нее какой-нибудь ответ, заглядывал ей в глаза, но ответа не последовало.

Кшися шла, почти бежала, словно желая как можно скорее оказаться в зале, где их дожидался пан Заглоба.

Но когда они были в десяти шагах от двери, рыцарь схватил ее за край платья.

– Панна Кристина! – воскликнул он. – Ради всего святого, умоляю...

Тут Кшися обернулась и, схватив его руку, прижала ее к губам с такой лихорадочной поспешностью, что он не успел этому воспротивиться.

– Люблю тебя всей душой, но никогда не буду твоею! – сказала она.

И не успел изумленный Кетлинг и слова вымолвить, как она добавила:

– Забудь обо всем, что было!

Через мгновение они оказались в зале. Слуга мирно дремал в одном кресле, Заглоба – в другом. Однако приход молодых людей разбудил их. Заглоба, приоткрыв один глаз, посматривал полусонно. Понемногу, однако, он вспомнил, с кем и где находится.

– А, это вы! – сказал он, одергивая пояс на животе. – Мне снилось, что короля мы избрали, но это был Пяст. На клиросе побывали?

– Побывали.

– А может, душа покойной Марии Людвики вам явилась?

– О да, – глухо ответила Кшися.

## Глава XIV

Выйдя из замка, Кетлинг, еще не опомнившись от Кшисиных слов и желая побыть в одиночестве, распрощался у ворот с нею и с Заглобой, и они отправились в гостиницу. Бася с пани Маковецкой уже успели вернуться от тетушки, и почтенная женщина приветствовала пана Заглобу такими словами:

– От мужа письмецо пришло, они с Михалом время вместе коротают. Слава Богу, оба живы, здоровы, вот-вот домой нагрянут. Тут и тебе, сударь, есть весточка от Михала, а мне от него только в мужнином письме приписка. Муж пишет, что тяжбу с Жубрами касательно Басиной деревеньки закончил в ее пользу. Теперь и у них сеймики на носу... Пишет он, имя пана Собеского там большую силу имеет, на выборы всякий народ приедет, но в наших краях все за пана коронного маршала горой. Тепло у них, и дожди прошли. В Верхутке пристройки паши сгорели... Дворовый не погасил огня, а тут – ветер...

– Где письмо от Михала? – спросил пан Заглоба, прерывая поток новостей, которые почтенная пани Маковецкая выпалила одним духом.

– Да вот же оно! – отвечала пани Маковецкая, подавая письмо. – Ветер поднялся, а народ весь на ярмарке гулял.

– Как же письма сюда попали? – снова спросил пан Заглоба.

– К пану Кетлингу в усадьбу доставлены были, а оттуда их человек принес... Ну вот я и говорю, тут как на грех ветер поднялся...

– Не угодно ли послушать, пани благодетельница, что брат пишет?

– Как же, как же, отчего не послушать...

Пан Заглоба сломал сургуч и начал читать, сначала вполголоса самому себе, а потом громко для всех:

– «Посылаю вам первое письмо, а второе, должно быть, и не последует, потому как и okazji здесь редкие, да скоро я и сам *personaliter*<sup>50</sup> перед вами предстану. Хорошо здесь, в поле, только сердце мое с вами, нет конца мыслям и воспоминаниям, для которых *solitudo*<sup>51</sup> любой компании милее. У нас здесь теперь поспокойнее стало, татары притихли, только кое-где отряды небольшие в травах попрятались, мы две вылазки сделали, да так успешно, что у них и свидетеля поражения не осталось».

– Молодцы наши, не дали им спуску! – воскликнула радостно Бася. – Ох, хорошо быть солдатом!

– «Дорошенковские ребята, – читал далее Заглоба, – озоровать горазды, да только без орды сложили крылья. Намедни языка поймали, говорит, ни один чамбул с места не тронется, а я полагаю, что коли до сей поры не было ничего, то уже и не будет, скоро неделя, как травы зазеленели, и коней пасти можно. В ярах и в оврагах снег еще подзадержался, но степь зеленая, ветер теплый, от коего уже и кони линяют, а это весны первый *signum*<sup>52</sup>. Я послал за заменой, вот-вот она подспеет, дождусь и сразу в дорогу... Пан Нововейский вместо меня будет нести службу, но только ее и нет почти. Мы с паном Маковецким день-деньской лис травим единой потехи ради, потому как весной мех непригодный. Дроф тут тьма-тьмущая, а челядинец мой подстрелил из самопала пеликана. Обнимаю вас от всего сердца, целую ручки сестре своей, благодетельнице, а также панне Кшисе, на ее благосклонность *fortissime*<sup>53</sup> уповая, и молю Бога лишь об одном, чтобы доброта ее оставалась неизменной. Кланяйся от меня панне Басе. Ново-

---

<sup>50</sup> лично (*лат.*).

<sup>51</sup> уединение (*лат.*).

<sup>52</sup> знак (*лат.*).

<sup>53</sup> особенно (*лат.*).

вейский всю свою злость за отказ на местных головорезах выместил и шеи им накостылял, да все равно не унялся. Видно, не больно ему полегчало, бедняге. Поручаю вас Богу и Его милосердию.

Р. S. У проезжих армян купил я в подарок панне Кшисе горностаевый палантин, глаз не оторвешь; а для гайдучка припас сладостей турецких».

– Пусть пан Михал сам их и ест, а я не маленькая, – отвечала Бася, и щеки у нее запылали, будто ее обидел кто.

– Иль ты не рада, что он скоро вернется? Сердишься на него? – спросил пан Заглоба.

Но в ответ она что-то буркнула, видно слегка досадуя, что пан Михал не принимает ее всерьез, да еще долго размышляла о дрофах и пеликане, о котором прежде не слыхивала.

Покуда читали письмо, Кшися сидела с закрытыми глазами, спиной к свету, и это было для нее спасением, потому что домочадцы не видели ее лица, а то они сразу догадались бы, что с ней творится неладное. Разговор в костеле, а теперь письмо от пана Володыёвского были для нее подобны ударам грома. Чудный сон рассеялся. С этой минуты девушка оказалась лицом к лицу с действительностью, тяжелой, как несчастье. У нее не было сил, чтобы тут же мгновенно собраться с мыслями, и только смутные, неясные ей самой чувства теснили грудь. Володыёвский со своим письмом, с обещанием скорого приезда и с горностаевым палантином показался ей пошлым до отвращения. И напротив, никогда еще Кетлинг не был ей так дорог. Сами мысли о нем были ей дороги, его слова, его лицо, и даже печаль его казалась бесценной. И вот нужно отойти в сторону от своей любви, от этого обожания, от того, к чему рвется сердце и тянутся руки; оставить любимого человека в отчаянье, в вечной грусти, убитого горем и отдать душу и тело другому, который из-за этого чуть ли не ненавистным становится.

«Нет, нет, не совладать мне с собою!» – повторяла в душе Кшися. И чувствовала себя пленницей, которой вяжут руки, а ведь она сама их себе связала: могла же она сказать Володыёвскому, что будет ему сестрой, не боле.

Вспомнился ей и недавний поцелуй, на который она ответила. Стыд и раскаяние овладели ею. Любила ли она уже тогда Володыёвского? Нет! В сердце ее не было любви, было сострадание, любопытство, озорство какое-то, и все это под покровом сестринского чувства.

Только теперь она поняла, что поцелуй этот был от лукавого и разница между ним и поцелуем по любви такая же, как между ангелом и дьяволом. Кроме презрения к себе, Кшисю разбирал еще и гнев, но душа ее возропала и против Володыёвского. Он тоже был виноват, почему же и раскаяние, и разочарование, и угрызения совести выпали только на ее долю? Почему бы и ему не испить эту чашу? И неужто она не вправе сказать ему, когда он вернется: «Я ошиблась... Сострадание к вам приняла за чувство. Ошиблись и вы; отрекитесь же от меня, как я от вас отрекаюсь!..»

При мысли о его грозном гневе волосы у нее стали дыбом от страха, но боялась она не за себя, а за любимого, которого ждала мести. Воображение рисовало ей такие картины: Кетлинг вступает в поединок с Володыёвским, сабля которого не знает пощады, и падает замертво, словно цветок под взмахом косы; она видела его кровь, его бледное лицо, закрывшиеся навеки глаза, в страдания ее превзошли всякую меру.

Кшися быстро встала и ушла к себе, чтобы скрыться от людей, не слышать больше разговоров о Володыёвском и его скором возвращении. Злость и досада против маленького рыцаря разбирали ее все больше.

Но раскаяние и печаль шли за ней по пятам, не покинув даже в часы молитвы, а когда она, измученная, легла в постель, сели на краешек ее кровати и завели с ней разговор.

– Где он? – спросила печаль. – Вот видишь, он и до сей поры не вернулся; бродит где-то в ночную пору, руки в отчаянье ломая. Ты бы рада любую бурю от него отвести, жизни ради него бы не пожалела, а вместо этого напоила ядом, нож вонзила в сердце...

– Если бы не легкомыслие, не ветреность, с какой ты желаешь заманить в свои сети любого, кого встретишь, – говорило раскаяние, – все могло бы быть иначе, а теперь тебе остаются лишь слезы. Ты виновата! Ты во всем виновата! Нет выхода, нет спасения, стыд, боль и слезы – твой удел.

– Помнишь, как он в костеле стоял перед тобою на коленях, – снова заговорила печаль. – Чудо еще, что сердце твое не разбилось от жалости, когда он в глаза тебе смотрел, к доброте твоей взывая. Тут и над чужим-то трудно было бы не сжалиться, а как же не пожалеть его – любимого, единственного. Боже, смилуйся над ним, Боже, пошли ему утешение!

– Если бы не твое легкомыслие, – снова повторяло раскаяние, – он мог бы заключить тебя в объятия, назвать своей избранницей, женой...

– И вечно быть с тобою! – прибавляла печаль.

– Твоя вина! – восклицало раскаяние.

– Плачь, Кшися, плачь! – вторила ему печаль.

– Слезами вины не смоешь! – возражало раскаяние.

– Делай, что хочешь, но помоги ему, – откликнулась печаль.

– Володыёвский убьет его! – тотчас же отозвалось раскаяние.

Кшися в холодном поту приподнялась и села. Ясный свет месяца освещал спальню, которая в белом этом блеске казалась необычной и даже страшной.

«Что же это? – думала Кшися. – Там спит Бася, я вижу ее, месяц осветил ее лицо, но не знаю, когда она пришла, когда разделась, когда легла. Я ведь не спала ни минуты, но, видно, бедная голова моя мне больше не служит...»

Так размышляя, она легла снова, но тотчас же печаль и раскаяние сели на краешек ее кровати, словно две богини, и, следуя своей прихоти, то вдруг тонули в лунной купели, то выплывали из серебряной глубины.

– Нет, не уснуть мне сегодня! – решила про себя Кшися.

И снова принялась размышлять о Кетлинге, с каждой минутой страдая все сильнее.

И вдруг неожиданно в тишине раздался жалобный Басин голос:

– Кшися!

– Не спишь?

– Мне приснилось, что турка пронзил пана Михала стрелой. Господи Иисусе! Сон – вздор! Но у меня зуб на зуб не попадает. Давай помолимся, чтобы Бог отвел от него несчастье!

«Пусть бы его кто подстрелил!» – подумала Кшися. Но тут же ужаснулась собственной злобе, и, хотя нечеловеческое усилие ей было надобно, чтобы именно сейчас молиться за счастливое возвращение пана Михала, сказала:

– Хорошо, Бася!

И они обе поднялись с постелей и, встав голыми коленками на залитый лунным светом пол, начали читать молитвы. Голоса их звучали то тише, то громче, вторя друг другу: казалось, что опочивальня превратилась в монастырскую келью, в которой две маленькие белые монашки свершали ночное бдение.

## Глава XV

На другой день Кшися была уже спокойней, потому что среди множества соблазнов и запутанных тропинок выбрала себе дорогу хоть и тернистую, но не ложную. Вступив на нее, она хотя бы знала, куда придет. Кшися решила все же увидеться с Кетлингом и объясниться еще раз, чтобы оградить его, спасти от прихоти случая. Выполнить это было нелегко. Кетлинг вот уже несколько дней как не показывался на глаза и даже не приходил ночевать.

Кшися теперь вставала на заре и шла в костел доминиканцев в надежде как-нибудь встретить его там и поговорить без свидетелей.

Через несколько дней она столкнулась с ним у самых ворот. Увидев ее, Кетлинг снял шляпу и стоял молча, склонив голову. Бессонница, мрачные мысли вконец измучили его, глаза впали, на висках проступила желтизна; нежное лицо его теперь казалось восковым, он напоминал Кшисе редкостный, но поникший цветок. Сердце у Кшиси обливалось кровью, и, хотя ей при ее робости любой решительный шаг был труден, она первая протянула ему руку и сказала:

– Пусть Господь вас утешит, поможет забыть все печали.

Кетлинг взял ее руку, приложил к своему пылающему лбу, а потом с жаром прижал к губам, долго не отнимал ее и наконец ответил голосом, исполненным смертельной муки и отчаяния:

– Нет для меня ни утешения, ни забвения!..

Кшися едва сдержалась, чтобы не броситься ему на шею и не воскликнуть: «Люблю тебя больше жизни! Твоя!» Она знала, что, стоит ей расплакаться, она непременно так и скажет, и поэтому долго молчала, сдерживая слезы. Но понемногу превозмогла себя и заговорила спокойно, хоть и быстро, чуть задыхаясь:

– Может, и полегчает тебе, коли узнаешь, что я никому не достанусь... Я иду в монастырь... Не осуждай меня, я и без того несчастна! Умоляю, поклянись, что во имя нашей любви ни одной душе не скажешь ни слова, не доверишь нашей тайны ни другу, ни брату. Это последняя моя просьба. Придет время, и ты узнаешь, почему я так поступила... Но и тогда не суди меня. А сейчас я больше ничего не скажу, я и говорить-то больше не в силах. Поклянись, дай слово, что будешь молчать, не то умру.

– Клянусь и даю слово! – отвечал Кетлинг.

– Да вознаградит тебя Господь, а он видит, как я тебе благодарна! И другим не подавай виду, пусть ни о чем не догадываются. Мне пора. Ты так добр ко мне, что я слов не нахожу. Но отныне нам придется видеться лишь на людях. Скажи мне только, ты не сердишься, не затаил обиды?.. Мука – это одно, а обида – совсем, совсем другое... Помни, ты отдаешь меня Богу, ему одному... Помни об этом!

Кетлинг хотел что-то сказать, но страдания его были так велики, что лишь тихий стон сорвался с его губ, он обхватил ладонями Кшисино лицо, приблизил к своему и долго не отпустил в знак того, что прощает ее и благословляет.

Они расстались – Кшися пошла в костел, Кетлинг на улицу, подальше от знакомцев на постоялом дворе.

Кшися вернулась домой только к полудню и застала там важного гостя – ксендза подканцлера Ольшевского. Ксендз подканцлер приехал неожиданно-негаданно с визитом к пану Заглобе, желая, как он сам говорил, «познакомиться со столь доблестным мужем, разум которого подобен светочу, а военные подвиги – образец для всего рыцарства славной Речи Посполитой».

Пан Заглоба, говоря по правде, был несколько сконфужен, но еще более польщен тем, что на глазах у всех ему оказана такая честь. Он пыжился, краснел, утирал пот, а при том хотел доказать пани Маковецкой, что такое внимание со стороны столь влиятельной и важной особы для него дело привычное.

Кшися, успевшая познакомиться с прелатом и почтительно поцеловавшая ему руку, усе-лась рядом с Басей, рада-радешенька, что никто не будет к ней приглядываться и не догадается о недавней буре.

Тем временем ксендз подканцлер с такой щедростью и так обильно осыпал похвалами пана Заглобу, что казалось, он пригоршнями достает их из своих отделанных фиолетовым кру-жевом рукавов.

– Не думайте, ваша милость, не думайте, – говорил он, – что я приехал сюда единого любопытства ради, дабы взглянуть на мужа, рыцарством нашим столь высокочтимого, хоть почести всегда достойный венец для героя, но туда, где, кроме мужества, опытность и смекалка обитают, люди и для собственной пользы приехать рады.

– Опытность, – смиренно отвечал пан Заглоба, – особенно в нашем военном ремесле, с годами приходит, и кто знает, может быть, именно потому и покойный пан Конецпольский, батюшка хорунжего нашего, случилось, совета у меня спрашивал, а позднее и пан Миколай Потоцкий, и князь Иеремия Вишневецкий, и пан Сапега, и пан Чарнецкий к ней прибегали, но прозвище Улисс для меня слишком лестно, и я от него смиренно отрекаюсь.

– И все же оно так к вам пристало, что иной оратор и подлинного имени не назовет, намекнет только – «наш Улисс», и довольно, все знают, о ком речь. В наш коварный век, когда вокруг все так зыбко, так ненадежно, когда многие, твердость потеряв, из стороны в сто-рону мечутся, на кого опереться не ведая, я сказал себе: «Иди! Послушай, что говорят люди, избавься от сомнений, просвети ум свой мудрым советом!» Вы догадались, должно быть, что я об избрании короля говорю, когда всякая *sensura candidatorum*<sup>54</sup> сгодится, а что уж говорить о той, что из ваших уст услышать можно. Слыхал я и среди рыцарей суждение, всеми с великой радостью подхваченное, будто вы без удовольствия на чужеземцев взираете, что так и норовят усесться на наш благородный трон. Слыхал я, будто сказывали вы, что Вазы не чужие для нас были, потому как в их жилах кровь Ягеллонов текла, а вот эти выскочки и пришельцы (так вы, мол, выразиться изволили) ни старопольских обычаев наших не ведают, ни вольнолюбия нашего уважить не сумеют, и от этого очень легко *absolutum dominium* получиться может.

Отдаю должное вашему уму, вещице это слова, но простите за назойливость, коли спрошу: в самом ли деле вами это сказано было или же глубокие эти сентенции на счет *opinio publico*<sup>55</sup> следует отнести?

– Эти дамы всему свидетельницы, – отвечал Заглоба, – пусть они скажут, коли Провиде-ние волей своей их наравне с вами даром речи наделило.

Ксендз подканцлер невольно взглянул на пани Маковецкую, а вслед за ней и на обеих барышень, тесно прижавшихся друг к другу.

На мгновенье наступила полная тишина.

И вдруг раздался серебристый голосок Баси:

– А я не слыхала ничего!

Тут Бася смутилась, залилась краской до самых ушей, так что Заглобе пришлось сказать:

– Простите ее, святой отец! Молода и неразумна еще! Но *quod attinet* кандидатов, я не раз сказывал, кабы нам из-за чужеземцев этих наших польских вольностей не лишиться.

– И я того опасаюсь, – отвечал ксендз Ольшовский, – но если бы мы и хотели найти и выбрать Пяста, плоть от плоти, родную кровь, то скажите, в какую сторону обратить сердца наши? Мысль ваша о новом Пясте, достопочтеннейший, столь разумна, что подобно пламени весь край охватила, я и на многих сеймиках, где народ еще подкупом не развращен, один голос слышал: «Пяст! Пяст!»

– Истинно так! – подтвердил пан Заглоба.

---

<sup>54</sup> оценка кандидатов (*лат.*).

<sup>55</sup> общественного мнения (*лат.*).

– Но все же куда легче провозгласить «Пяст! Пяст!», – продолжал далее ксендз Ольшовский, – нежели на деле найти того, о ком мы помышляем ежечасно. Поэтому не удивляйтесь, почтеннейший, если спрошу прямо: кто у вас на примете?

– Кто на примете? – повторил озадаченный Заглоба.

Он оттопырил губу и насупил брови. Трудно ему было ответить так вдруг, потому что до сей поры ни о чем таком он и не помышлял вовсе, не было у него таких мыслей, на которые намекал святой отец. Впрочем, Заглоба и сам отлично видел, что ксендз подканцлер ведет с ним игру, но охотно поддавался, потому что ему это было лестно.

– Я только *in principio*<sup>56</sup> говорил, что нам Пяст надобен, – ответил он наконец. – Но имени не называл, что правда, то правда.

– Слышал я о горделивых замыслах князя Радзивилла, – сказал ксендз Ольшовский словно бы невзначай.

– Пока грудь моя еще дышит, пока в жилах моих не остановилась кровь, – воскликнул проникновенно пан Заглоба, – не бывать этому! Лучше умереть, чем видеть, как народ, честь и совесть поправ, предателя и иуду в благодарность за вероломство королем своим выбрал!

– Сдается мне, здесь слышен голос не только разума, но и гражданской добродетели! – заметил подканцлер.

«Эге, – подумал пан Заглоба, – ты со мною затеял игру, дай и я с тобой поиграю».

И тут снова подал свой голос Ольшовский:

– Куда поплывешь ты, без руля и ветрил, корабль отчизны моей? Какие бури, какие скалы тебя ожидают? Не к добру это, ежели рулевым твоим окажется чужеземец, но, видно, быть посему, коли среди сынов твоих достойного не найдется!

Тут он развел своими белыми руками, на которых поблескивали перстни, и, склонив голову, печально произнес:

– Кто остается? Конде, князь Нейбургский, лотарингец?.. Других нет!

– Как нет? Есть Пяст!

– Кто же? – спросил ксендз подканцлер.

Наступило молчание.

И снова заговорил Ольшовский:

– Где тот, один-единственный, кого поддержали бы все? Где найти такого, что пришелся бы рыцарству по вкусу, дабы никто не смел роптать против избранника? Был один среди всех воистину достойный, слава озаряла его подобно солнцу, он был другом твоим, доблестный рыцарь. Да, был...

– Князь Иеремия Вишневецкий! – прервал его пан Заглоба.

– Угадали! Но, увы, он в могиле...

– Жив сын его! – отвечал Заглоба.

Подканцлер зажмурил глаза и замер, потом поднял голову и, взглянув на пана Заглобу, медленно произнес:

– Возблагодарим же Всевышнего, что он вдохнул в меня мысль побеседовать с вами. Быть посему! Жив сын великого Иеремии, юный, подающий надежды князь, перед коим Речь Посполитая и по сей день в долгу неоплатном. Но от всех богатств ничего у него теперь не осталось, слава – единственное его наследство. В наш растленный век, когда каждый лишь о золотом тельце помышляет, кто остановит на нем свой выбор, у кого хватит отваги назвать его имя? У вас, почтеннейший, – да. Но много ли таких сыщешь? Да и не диво, что тот, кто всю жизнь сражался как лев на поле брани, найдет в себе силы и на ином поприсе не отступить, во весь голос за справедливость ратуя... Но пойдут ли вослед за ним и другие?

Тут ксендз подканцлер задумался и, подняв очи горе, продолжал:

<sup>56</sup> в принципе (*лат.*).

– Пути Господни неисповедимы. Но каждый раз, стоит мне вспомнить о вас и о том, что все наше рыцарство готово за вами следовать, я с удивлением зрю, как в душу мою вселяется надежда. Скажите мне как на духу, сын мой, была ли когда-нибудь ноша для вас непосильной?

– Не было такого! – ответил Заглоба с чувством.

– Но сразу, напрямик, называть имя князя не следует. Нужно, чтобы уши к нему поне-многу привыкли, да и недругам вашим оно не должно внушать опасения, чем козни строить, пусть лучше пошутят да посмеются. Бог даст, когда партии враждовать устанут, глядишь, на нем и сойдутся. Прокладывайте ему потихоньку дорогу, не уставайте трудиться, потому что избранник сей вашего опыта и разума достоин. Да благословит вас в ваших намерениях Гос-подь!..

– Смею ли я предполагать, – спросил Заглоба, – что и вы, святой отец, на князя Михала делаете ставку?

Ксендз подканцлер вынул из-за рукава маленькую книжку, на которой чернел напечатан-ный жирными буквами титул *Censura candidatorum*, и сказал:

– Читайте, сын мой, пусть книжечка эта сама обо всем скажет.

Тут ксендз подканцлер собрался было уходить, но Заглоба остановил его:

– Э нет, святой отец, я еще не все сказал. Я хотел бы воздать благодарность Всевышнему за то, что перстень с печаткой теперь в таких руках, что людские сердца податливей воска делают.

– О чем вы, сын мой? – удивленно спросил подканцлер.

– А еще я хочу, чтоб вы знали, святой отец, юный князь мне самому пришелся по сердцу, потому что я отца его почитал и любил и, было дело, под его началом дрался вместе с дру-зьями моими, и они тоже возрадуются, что имеют случай изъяснить сыну всю ту любовь, что к батюшке его питали. Потому-то я и готов за этого претендента не щадя живота своего биться и еще сегодня потолкую с паном подкоморием Кшицким, давним моим приятелем, человеком знатным, которого вся шляхта почитает, да и трудно было бы его не любить. Оба мы будем делать все, что в силах наших. Бог даст, труды наши не останутся втуне.

– Пусть ангелы Господни осеняют ваш путь, сын мой, – отвечал ксендз подканцлер, – коли так, ничего более и не надобно.

– Кроме благословения вашего. И еще одного лишь мне хотелось, чтобы вы, святой отец, не подумали обо мне так: «Свои собственные *desiderata* я ему внушил, вдолбил этому дурню, что, дескать, это он сам кандидатуру князя Михала *invenit*<sup>57</sup>, иными словами говоря, попался дурачок на крючок...» Святой отец! Я за князя Михала стою, потому что он мне самому по нраву пришелся, вот в чем соль! И вашей милости, как я погляжу, – тоже. Вот в чем соль! Я за него – ради княгини-вдовы, ради друзей, ради веры в столь быстрый разум, явивший нам сейчас истинную Минерву. – Тут пан Заглоба слегка поклонился подканцлеру. – Но не оттого вовсе, что как дитя малое дал себя уговорить, будто это собственное мое желание, и не оттого, наконец, что дурень я последний, а потому, что, коли кто мудрый мудрое слово скажет, старый пан Заглоба ответить рад: «Быть посему!»

Тут старый шляхтич еще раз склонился в поклоне и умолк. Ксендз подканцлер сначала было смутился, но, видя доброе настроение шляхтича и то, что дело приняло такой удачный оборот, рассмеялся от души и, схватившись за голову, стал повторять:

– Улисс, ни дать ни взять Улисс! Ах, сын мой, коли хочешь доброе дело сделать, политику соблюдать надобно, но с вами, как поглядишь, лучше сразу перейти к сути. До чего же вы мне по нраву пришли!

– Точь-в-точь как мне князь Михал пришелся!

---

<sup>57</sup> придумал (лат.).

– Да пошлет вам Господь здоровья! Хо-хо! Преподали вы мне урок, ну да я не в обиде. Вас на мякине не проведешь... Буду рад, коли сей перстенок напоминанием о нашем colloquium<sup>58</sup> вам послужит.

– Полно, – отвечал Заглоба, – пусть перстенок остается на месте...

– Прошу вас, ради меня...

– Ни Боже мой! Ну разве что в другой раз... после избрания...

Ксендз подканцлер понял его слова, не настаивал больше и с довольной улыбкой удалился.

Пан Заглоба проводил до самых ворот и, возвращаясь, повторял:

– Хо! Неплохо я его проучил! Ты умен, но и я не дам промашки!.. Однако честь мне оказана, и немалая! Теперь в эти ворота все чины пожалуют один за другим... Хотел бы я знать, что об этом наши сударыни думают?

Сударыни и впрямь не могли опомниться от изумления и глядели на него как на героя, особенно пани Маковецкая.

– Ну и мудрец же вы, ваша милость, – воскликнула она, – чистый Соломон!

А он, довольный, отвечал:

– Кто-кто, голубушка? Дай срок, увидишь тут и гетманов, и епископов, и сенаторов; еще и отмахиваться от них будешь, разве за портьеру спрячешься...

Разговор был прерван появлением Кетлинга.

– А ты, Кетлинг, нуждаешься в протекции? – воскликнул пан Заглоба, исполненный важности.

– Нет! – ответил рыцарь с грустью. – Протекции мне не нужны, я снова еду, и надолго.

Заглоба поглядел на него внимательно.

– А отчего вид у тебя такой, словно только-только с креста сняли?

– Потому как ехать надобно.

– Далеко?

– Получил я письмо из Шотландии от давних друзей семейства нашего. Дела требуют моего присутствия, уезжаю, может, и надолго... Жаль мне с вами, друзья мои, расставаться, но увы!

Заглоба шагнул на середину комнаты, глянул на пани Маковецкую, а потом поочередно на барышень и спросил:

– Слыхали? Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, аминь!

---

<sup>58</sup> разговоре (лат.).

## Глава XVI

Услышав весть об отъезде Кетлинга, пан Заглоба хоть и удивился, но поначалу не заподозрил худого: легко было поверить, что Карл II, припомнив услуги, оказанные семьей Кетлинга трону во времена недавних волнений, решил теперь щедро вознаградить последнего потомка знатного рода. Такая версия казалась весьма правдоподобной. Кетлинг к тому же показал пану Заглобе заморские письма, чем окончательно рассеял все сомнения.

Но отъезд этот угрожал всем планам старого шляхтича, с тревогой думал он о будущем.

Судя по письму, Володыёвский должен вот-вот вернуться, размышлял Заглоба, а там в степи вольные ветры его тоску давно разогнали. Вернется он молодцом и с ходу сделает предложение панне Кшисе, к которой как на грех явную слабость питает. Кшися, разумеется, даст согласие – как же такому кавалеру и притом брату пани Маковецкой отказать, а бедный любимый гайдучок останется на мели.

Со свойственным старым людям упрямством пан Заглоба решил настоять на своем и устроить Басино счастье. Как ни отговаривал его пан Скшетуский, как ни пытался он сам себя порой урезонить, все было тщетно. Правда, случалось, он давал себе зарок угомониться, но потом с еще большей страстью возвращался к мысли о сватовстве. По целым дням размышлял он о том, как бы все половчее устроить, придумывал хитроумные ходы и уловки. И до того входил в роль, что когда, как ему казалось, дело сладилось, громко восклицал:

– Да благословит вас Бог, дети мои!

Но теперь-то он видел, что строит замки на песке. И, махнув на все рукой, решил положиться на волю Божию, понимая, что едва ли Кетлинг предпримет до отъезда решительный шаг и объяснится с Кшисей.

Любопытства ради Заглоба решил напоследок выпросить у Кетлинга, когда он собирается ехать и что еще хотел бы предпринять, перед тем как покинет Речь Посполитую. Стараясь вызвать Кетлинга на откровенность, Заглоба сказал с озабоченной миной:

– Ничего не попишешь! Ты сам себе господин, не стану я тебя отговаривать, скажи только, когда в наши края вернуться намерен.

– Откуда мне знать, что меня ждет – какие труды и какие тяготы? Вернусь, коли смогу, останусь навсегда, коли придется...

– Увидишь, все равно тебя к нам потянет.

– Дай-то Боже, чтобы и могила моя была здесь, на этой земле, что дала мне все, о чем помышлять можно.

– Вот видишь, в иных краях чужестранец вечно пасынком остается, а наша земля-матушка руки к нему тянет и на груди своей согреть готова.

– Правда! Истинная правда. Но, видно, не судьба. На старой родине моей все я могу обрести, все, кроме счастья.

– Хо! Говорил я тебе, братец, останься с нами, женись, да ты не послушал. Был бы женат, непременно бы к нам вернулся, разве что жену через водные стихии переправить решился, чего не советую. Говорил я тебе! Да не слушал ты старика!

Сказав это, пан Заглоба снова метнул взгляд на Кетлинга, но тот по-прежнему сидел молча, опустив голову и глядя в землю.

– Ну и что ты скажешь на это, братец? – помедлив немного, промолвил Заглоба.

– Не было к тому повода никакого, – уныло отвечал рыцарь.

– А я говорю, был! А если нет, то отныне не перепоясать мне больше этим вот поясом своего брюха. Кшися достойный предмет, и ты ей мил.

– Дай Бог, чтобы и впредь так было, даже если и моря нас разделят.

– Ты что-то еще сказать хотел?

– О нет, ничего боле!

– А с нею ты объяснился?

– Об этом ни слова! Мне и без того уезжать тяжело.

– Кетлинг, хочешь, я за тебя объяснюсь, пока не поздно?

Кетлинг, помня, как молила его Кшися держать их чувства в тайне, подумал, что, быть может, доставит ей радость, коли, не упуская случая, вслух от них отречется.

– О нет, сударь, – сказал он, – в этом нет никакого проку, я это знаю и посему сделал все, чтобы избавиться от пустых мечтаний, а впрочем, спрашивай, коли надеешься на чудо!

– Гм! Если ты сам от нее избавиться постарался, тут и впрямь никто не поможет. Только, признаться, я полагал, что ты рыцарь похрабрее, – сказал Заглоба с горечью.

Кетлинг встал и, воздев руки к небу, с жаром произнес:

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.